



Бунин
Б Е З Г Л Я Н Ц А

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

**Павел Евгеньевич Фокин
Лада Викторовна Сыроватко
Бунин без глянца
Серия «Без глянца»**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10777351

Бунин без глянца ; [сост. П. Фокина и Л. Сыроватко; вступ. ст. П. Фокина]: Амфора; Санкт-Петербург; 2009

ISBN 978-5-367-01091-6

Аннотация

Бунин – осколок великой традиции – одним из первых в «железном» веке нашел художественный ответ времени безразличия и беспредела. Затертый в смуте между грозными течениями друзей и врагов, он высился одинокой вершиной, с виду почти «ледяной», но внутри готовый превратиться в вулкан.

Книга продолжает серию документальных повествований о русских писателях XIX–XX веков.

Содержание

Свой среди чужих, чужой среди своих	5
Личность	10
Облик	10
Характер	17
Творчество	23
Хранитель языковых традиций	34
Мировосприятие	36
Вера	40
Политические взгляды и убеждения	42
Своеобразие ума и мышления	44
Особенности поведения	46
Собеседник	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Бунин без глянца

Сост. Павел Фокин и Лада Сыроватко

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2009

© Сыроватко Л., составление, 2009

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2009

* * *

Свой среди чужих, чужой среди своих

Чем дороже нам Бунин, тем труднее для нас становится изъяснить иностранцу, в чем заключается его значение и его сила... Мне горько не только оттого вообще, что до сих пор Нобелевская премия не дана русскому, но еще и оттого, что так трудно было бы объяснить европейскому литературному миру, почему именно Бунин достоин этой премии более, чем кто-либо другой.
Владислав Ходасевич

Бунин вошел в историю мировой литературы как первый русский (а точнее – русскоязычный, ибо в графе «гражданство» официально значилось: «без гражданства») лауреат Нобелевской премии. Звание сколь несомненное, столь и сомнительное. Нобелевская премия, как и всякая другая премия, достаточно условное мерило таланта и художественного дара, разве что более мифологизированное и разрекламированное. Но, скажем, кто и где сегодня знает имена Сюлли-Прюдома, Бьернсона, Эчегерай-и-Эйсагирре, Кардуччи, Эйкена, фон Хейденстама, Гьеллерупа, Шпиттелера, Деледды, Карлфельдта, Силланпяя (можно добавить сюда еще десятка полтора-два столь же экзотических даже для филолога имен)? А ведь все они нобелиаты! Каждый отмечен или «за выдающиеся литературные достоинства», или «за многочисленные заслуги», или «за многообразное поэтическое творчество». «За несравненный эпос». «За высокое мастерство». «За серьезные поиски истины, всепроницающую силу мысли, широкой кругозор, живость и убедительность». Или вот, как Харри Мартинсон, лауреат 1974 года, «За творчество, в котором есть все – от капли росы до космоса»!

Бунин – в их числе?

Конечно, можно вспомнить, что среди нобелевских лауреатов числятся Киплинг, Метерлинк, Тагор, Гамсун, Шоу, Томас Манн, Гессе, Фолкнер, Жид, Мориак, Хемингуэй, Камю, Сартр, Белль, Кавабата, Беккет, Солженицын, Маркес (и этот список всем известных имен можно пополнить). Каждый образованный человек если не читал, то, по крайней мере, слышал об этих писателях. Они – золотой фонд мирового культурного наследия. Можно и без казенных формулировок догадаться, за что они отмечены престижной наградой и солидной суммой денег.

Бунин – в одном с ними ряду?

Пожалуй, понять место Бунина в искусстве было бы проще, если бы он остался без пресловутой награды (хотя с точки зрения биографической и исторической слава Богу, честь и хвала шведским академикам, что поддержали в бедственную минуту жизни замечательного русского художника, а вместе с ним и всю русскую эмиграцию, нищую, бездомную, кинутую на произвол судьбы, униженную и оскорбленную). Еще Пушкин сказал, что художника нужно оценивать по законам, им самим провозглашенным. И уж точно – не по чужеземным премиям!

Младший современник Льва Толстого, Тургенева и Чехова, Бунин унаследовал от них традиции реалистической эстетики. Жизнь человека предстает в его произведениях во всей полноте красок, звуков, событий – повседневных забот и подвигов, хозяйственных трудов и праздников, страстей, страданий, сомнений и побед. Наедине с природой и в сутолоке города. В часы любовного опьянения и на краю гроба. Его глаз был зорек и наблюдателен, его ухо – чутко и внимательно. Язык его произведений обилен и щедр.

Бунин дружил с Куприным и Горьким. Любил доброжелательный круг московских литераторов-реалистов, многие годы с охотой посещал «Среды» Д. Телешова, где общался

с Н. Златовратским, Б. Зайцевым, Л. Андреевым, В. Вересаевым, А. Серафимовичем, С. Найденовым, И. Шмелевым, С. Голоушевым... В их кругу Бунин чувствовал себя «среди своих». Его здесь любили, приветствовали и восхищались. Долгие годы это была поистине *его* среда.

Напротив, напряженно складывались его отношения с лагерем модернистов. Хотя и пробовал печататься в «Весах», и даже издал сборник стихов в «Скорпионе», но с В. Брюсовым контакта не нашел. Неприязненно отзывался и о Бальмонте. Чуждыми оказались А. Блок и Андрей Белый. Скептически смотрел на Н. Гумилева и его «Цех поэтов». Представители авангардных направлений тоже не вызывали симпатии. Если символисты (и выросшие из них акмеисты), на его взгляд, были слишком искусственными и книжными, то футуристы – чересчур уличными и грубыми. Всякое отклонение от правды жизни воспринимал он если не как кощунство, то по меньшей мере как дурной тон. Экспериментов в искусстве Бунин не признавал. Подчеркнуто выставлял себя последним классиком русской литературы.

Таковым в конце концов его все и признали...

Господь даровал Бунину долгий век, судил жить в эпоху глобальных перемен. Он родился в один год с Лениным, умер спустя несколько месяцев после смерти Сталина. Видел гибель Российской империи, наблюдал за рождением Советской России. На его глазах возникали тоталитарные режимы. «Метались смятенные народы». Человечество изощряло свой интеллект в создании различных средств самоистребления, одновременно скатываясь к нравам дикого варварства: отравляющие газы, танки, боевая авиация, реактивное и ядерное оружие, ГУЛАГ, Освенцим, Бухенвальд и Дахау – не болезненные *видения* Раскольникова и Достоевского, которого Бунин не жаловал именно за «болезненность» его воображения, а *газетные новости*, повседневная реальность, безжалостный факт.

«Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать – тридцать – сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытаться муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого – пытаться по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом», – утверждал в «Архипелаге ГУЛАГ» младший современник Бунина Александр Солженицын.

Но Бунин с ума не сошел.

«Да не только чеховские герои, – продолжал свою мысль Солженицын, – но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что еще вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно невозможно стало у Екатерины, – то в расцвете великого двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолеты, появилось звуковое кино и радио, – было совершено не одним злодеем, не в одном потаенном месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв».

Бунин мог поверить.

Более того, знал и предупреждал. В отличие от своего старшего брата Юлия, народника и прогрессиста, никогда не был «чеховским интеллигентом». На своих соотечественников смотрел он трезвым взглядом. Его повесть «Деревня» вызвала шок и упреки в очернительстве (как сказали бы советские критики). Но не только «Деревня», вся бунинская проза довоенного периода не знает компромиссов с интеллигентской мифологией о народе. В интервью «Московской газете» 23 июля 1912 года Бунин говорил: «У нас, несмотря на целые обще-

ственные и литературные полосы, касавшиеся самых недр народной жизни, в сущности, русская интеллигенция поразительно мало знает свой народ».

Он видел жестокость, косность, хамство и бессмысленность жизни русской деревни. Мужика и помещика, простолюдина и аристократа, обывателя и артиста, революционера-подпольщика и царя-батюшки – до революции вся Россия, включая Москву и Петербург, оставалась по сути своей деревней (вспомним пушкинский эпиграф к главе «Евгения Онегина»)¹. 7 октября 1917 года, за две недели до окончательного краха России, Бунин записал в дневнике: «Думал о своей „Деревне“. Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку – верь мне, я взял типическое».

Но как, откуда?

С детства он был заморожен таинством смерти. Мемуаристы говорят: боялся. Скорее – не мог смириться с ней, бунтовал, возмущался: «Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина». Смерть, точнее ее физическое проявление, была ему отвратительна. Возмущался обрядами: «Умер человек и как можно быстрее его увезти. Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и отправили в Египет, а там положили бы в нишу на лавку и я высох бы. А в землю – это ужасно. Грязь, черви, ветер завывает». На похороны ходил крайне редко (даже не простился с матерью и отцом). Смерти не принимал. Не понимал.

И не мог оторвать взгляда, переключить сознание: «Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование – каждую секунду висишь на волоске!» Перед лицом смерти острее чувствовалась божественная красота мира и убожество человеческого образа жизни. Человек как субъект экономической деятельности, как юридическое лицо, как член социума в суетных потугах обогатиться, выслужиться, заявить свое право, обогнать, обворовать, покорить и унижить, лицемерящий в семье и в храме, тайно бесстыдный и беспринципный, равно как и человек духовный, образованный, воспитанный, добропорядочный и честный, исправный налогоплательщик, гражданин и патриот, готовый сложить голову «за веру, царя и Отечество», служитель муз или просто «добрый парень» обречены сойти на нет, умолкнуть, застыть, истлеть – а звезды будут светить, а ветра – дуть, а море – катить свои волны. Как и сто, и тысячу, и миллион лет назад. Бунин всеми органами ощущал силу мира и – наше/свое бессилие. Калейдоскоп истории, завертевшийся перед глазами в бешеном круговороте, непрерывное странствие по свету, бессчетные встречи и расставания усугубили это чувство. На самом деле пугала не смерть, а бессмысленность жизни. Не только российской.

Абсурд бытия и непостижимый порядок жизни открылись Бунину очень рано. Он не сразу подобрал ключ к их изображению, но, когда им овладел, заговорил так, как никто из его современников. В его прозе появилась безжалостная *зеркальность*: мир предстал одномоментно и детально, но (и только!) в пределах рамы. Шаг в сторону – и ничего нет.

Было ли?

Есть. И пребудет вовеки. Исчезнет лишь тот, кто выйдет из угла отражения, ушедший вдаль – останется в *глубине* перспективы. Такой системы координат русская литература до Бунина не знала. Мир классической литературы располагался *по вертикали*, между небом и землей, раем и адом. Мир Бунина *лежит* перед ним и позади – даже когда он смотрит на звезды. Там нет добра и зла, есть только жизнь и смерть – изобильная жизнь и ненасытная смерть.

Герой рассказа «Чаша жизни» (1913) с говорящей фамилией Горизонтов, человек необычной внешности и склада ума, который «далеко мог бы пойти», прожив вопреки тому

¹ О rus!.. О Русь! Ног. (лат.) – О деревня!.. Гораций.

размеренную жизнь гимназического учителя, отправляется в финале из родного Стрелецка в Москву:

«— И в Москву, конечно, по делам?

— По делам, — сказал Горизонтов. — Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

— Как? — с изумлением воскликнул господин в очках. — Вы продаете собственный скелет?

— А почему бы и нет? — сказал Горизонтов. — Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба?

— Но позвольте! — перебил господин в очках. — И вам не странно... да скажу даже — не жутко совершать подобную сделку?

— Ничуть, — ответил Горизонтов. — Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне... А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с запавшими глазами о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумрачный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов — рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками. Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц».

Бунин — первый русский писатель-экзистенциалист, нашедший верный художественный ответ наступавшему веку безразличия и беспредела, где все равны — где все равно. Не понятый друзьями-реалистами, не признанный противниками-модернистами, отмеченный европейскими интеллектуалами как *национальный* писатель, «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы», он выился среди них одинокой вершиной — то ли московским Иваном Великим, то ли альпийским Монбланом.

Ледяная ночь, мистраль
(он еще не стих).
Вижу в окнах блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,

Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

Павел Фокин

Личность

Облик

Вера Николаевна Муромцева-Бунина (1881–1961), вторая жена И. А. Бунина, автор мемуаров «Жизнь Бунина», прожила с ним более сорока шести лет (с 1907 года):

С едва пробивающимися усиками <...> тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Волосы густые, расчесаны на пробор. Одет в мягкую рубашку, галстук широкий, длинный; однобортный пиджак застегнут на все пуговицы. По рассказам, глаза его были темно-синие, румянец во всю щеку. Сразу было видно, что он из деревни, здоровый юноша [35, 93].

Иван Алексеевич Бунин, в пересказе А. Седых:

Были у меня романтические глаза, такие синие, мечтательные. И нежный пушок на щеках, так что меня иногда принимали за молодого еврея. Галстук носил я атласный, двойной, пушкинского времени [43, 192].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Художник Пархоменко, живший в ту пору (в 1891 г. – Сост.) в Орле, рассказывал мне при знакомстве, что у Ивана Алексеевича были очень красивые густые волосы и что ему хотелось его писать [35, 124].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Остался портрет, снятый в Полтаве в 1895 году. <...> Иван Алексеевич сильно изменился: стал носить пышные усы, бородку. Крахмальные высокие с загнутыми углами воротнички, темный галстук бабочкой, темный двубортный пиджак. На этом портрете у него прекрасное лицо, поражают глаза своей глубиной и в то же время прозрачностью [32, 128].

Викентий Викентьевич Вересаев (настоящая фамилия Смидович, 1867–1945), писатель, мемуарист:

Худощавый, стройный блондин, с бородкой клинышком, с изящными манерами, губы брюзгливые и надменные, геморроидальный цвет лица, глаза небольшие. Но однажды мне пришлось видеть: вдруг глаза эти загорелись чудесным синим светом, как будто шедшим изнутри глаз, и сам он стал невыразимо красив [20, 453].

Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957), прозаик, организатор литературно-художественного кружка «Среда», многолетний друг и корреспондент И. А. Бунина:

Высокий, стройный, с тонким, умным лицом, всегда хорошо и строго одетый [52, 40].

Борис Константинович Зайцев (1881–1972), писатель, многолетний друг Бунина:

Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы – тогда русо-каштановой – изящный, суховатый, худощавый [23, 277].

Андрей Белый (1880–1934) поэт, прозаик, мемуарист, теоретик символизма:

Желчный такой, сухопарый, как выпитый, с темно-зелеными пятнами около глаз, с заостренным и клювистым, как у стервятника, профилем, с прядью спадающей темных

волос, с темно-русой испанской бородкой, с губами, едва дососавшими свой неизменный лимон [9, 252–253].

Борис Константинович Зайцев:

«На половине странствия нашей жизни», лет в тридцать пять, был он изящен, тонок, горд, самоуверен [22, 397].

Валентин Петрович Катаев (1897–1986), писатель, в 1914–1918 встречался с Буниным в Одессе:

[1910#е] Перед нами предстал сорокалетний господин – сухой, желчный, щеголеватый – с ореолом почетного академика по разряду изящной словесности. Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный, но это не существенно. <...>

Хорошо сшитые штучные брюки. Английские желтые полуботинки на толстой подошве. Вечные. Бородка темно-русская, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова. Французская. <...> Пенсне вроде чеховского, стальное, но не на носу, а сложенное вдвое и засунутое в наружный боковой карман полуспортивного жакета – может быть, даже в мелкую клеточку.

Крахмальный воротник – или, как тогда говорилось, воротнички – высокий и твердый, с уголками, крупно отогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона [26, 12–13].

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956), поэт, литературовед, переводчик:

Костистое, бледно-зеленое в свете ювелирной витрины лицо: слоновья крутая челюсть, плотно сжатые губы под щетинистыми подстриженными усами, большие, как бы невидящие, глаза.

Валентин Петрович Катаев:

[1912–1916] Бунин имел вид дачника, но не банального дачника-провинциала в соломенной шляпе, рубашке-апаш и парусиновых туфлях, Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках, в просторной, хорошо выглаженной холщовой рубаше с отложным воротником, со сложенным вдвое стальным пенсне в маленьком наружном карманчике, подпоясанный не пошлым шелковым шнуром с потрепанными кистями <...>, а простым, но тоже, видать, очень недешевым, кожаным поясом, за который он иногда, несколько по-толстовски, засовывал руки; шляпу не носил, а уж если особенно сильно припекало, то вдруг надевал превосходнейшую настоящую панаму, привезенную из дальних стран, или полотняный картуз из числа тех, которые летом носили Фет, Полонский [26, 51].

Николай Яковлевич Рошин (настоящая фамилия Федоров, 1896–1956), писатель, журналист, около двадцати пяти лет с перерывами жил у Буниных в Грассе:

[1919] Меня встретил высокий, слегка сутулый, сухощавый старик с приподнятым правым плечом, изможденным, до скорбности печальным, темным лицом, в черной шелковой шапочке, похожий на Анатоля Франса. Мы сидели в комнате за большим овальным полированным столом, он все кутался в плед, смотрел на меня своими серо-голубыми, безразлично-внимательными, усталыми глазами, глуховатым медленным голосом расспрашивал о друзьях и обо мне самом [40, 170].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из дневника 1919 г.:

Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, и я вдруг увидела, что он похож на боярина [54, 180].

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника 1921 г.:*

Я зажег электричество, взглянул в зеркало: только некоторая сухость и определенность черт, серебристый налет на висках, несколько поблекший цвет глаз да многая душевная опытность отличает меня от прежнего – только это [31, 385].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из дневника 1921 г.:*

20 мая/2 июня 1921. Звонок. Отворяю. Гиппиус. <...> Пили чай. К нам вышел Ян в зеленом халате.

– Настоящий Иоанн Грозный! – сказала она протяжно. <...>

Потом она стала рассматривать халат Яна, подкладку, и просить Яна, чтобы он надел его наизнанку. Ян вышел в другую комнату и вернулся весь красный.

– Вы настоящий теперь Мефистофель.

Зашла речь о том, что теперь красный цвет вызывает неприятное ощущение.

– Я теперь уже отошел, но в Одессе после большевиков красный цвет доставлял мне настоящие физические мучения, – сказал Ян, – этот халат был сделан еще в шестнадцатом году [55, 34–35].

Николай Яковлевич Рошин:

В тот субботний вечер гостеприимный хозяин (в 1924 г., П. А. Нилус. – Сост.) устроил праздничный ужин. <...> Точно в назначенное время, пропуская вперед сероглазую статную свою жену В. Н. Муромцеву, считавшуюся когда-то «первой московской красавицей», вошел самый знатный из гостей. Вошел – и сразу же просто, естественно и полно завладел вниманием всех. <...> Куда делись дряблые, обвисшие щеки, равнодушно-усталый взгляд, глухой голос! Я наслаждался всем видом этого моложавого, лишь слегка седеющего человека, его стройной, спортивно-подтянутой фигурой, необыкновенно выразительным тонким лицом – «лицом римского патриция», как принято было говорить о нем, – освещенным блеском умных живых глаз и улыбкой, то юношески-насмешливой, то ласковой и доброй, его сильным и теплым, «играющим» голосом и совершенно лишенной интеллигентской вычурности, меткой, хваткой, яркой, остроумной речью, от которой, как говорил Л. Андреев, «ломит щеки» [40, 171].

Ирина Владимировна Одоевцева (1901–1990), поэт, прозаик, мемуаристка:

Он был среднего роста, но держался преувеличенно прямо, горделиво закинув голову. И от этого или оттого, что он был очень строен, казался высоким.

Его красивое, надменное лицо выражало холодное, самоуверенное спокойствие, но светлые глаза смотрели зорко, пристально и внимательно и, казалось, замечали и видели все – хоть на аршин под землей [37, 229].

Томас Манн (1875–1955), немецкий писатель, нобелевский лауреат 1929 г.:

Бунин именно таков, каким я его себе представлял: среднего роста, бритый, с резкими чертами лица, он производит впечатление человека скорее замкнутого, чем разговорчивого [32, 379–380].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логина (1904–1993), художница, ученица Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова, друг семьи Буниных:

Осанка у него была барская, держался всегда прямо, даже когда опирался на палку. В своей всегдашней английской кепи, загорелый, походил он скорее на моряка, на капитана «дальних плаваний» и страстно любил путешествия <...> [32, 310].

Владимир Алексеевич Смоленский (1901–1961), поэт:

Одевался он под английского лорда. Было в нем что-то от героя Жюль Верна, от благородного и честного искателя [45, 257].

Василий Семенович Яновский (1906–1989), публицист, врач:

Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец [59, 313].

Серж Лифарь (Сергей Михайлович Лифарь, 1905–1986), танцовщик, балетмейстер, педагог, теоретик балета, коллекционер:

Иван Алексеевич был из породы «вечных лицеистов» – «франтов», – пускай он был богат или бедный. Его канотье был его любимый головной убор. Монокль на черной ленте, на шее «вечный» мотылек – его галстук. Трость в его руках была не нема – она тоже была инструмент искусства. Одежда проглажена, но брюки И. А. были всегда коротки – на вершок? А летом, как и Шаляпин, И. А. любил фланелевые белые [5, 141].

Галина Николаевна Кузнецова (1900–1976), последняя любовь И. Бунина, романистка. Из дневника:

7 июня 1927. Он сегодня в первый раз весь в белом, ему это очень идет, он очень сухощав и по-юношески строен [28, 23].

Борис Константинович Зайцев:

Грасс, свет, солнце, море... Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белых панталонах и туфлях белых на босу ногу...

Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног – он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское.

Засучивает совсем рукава рубашки.

– Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь.

И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре [22, 338–339].

Ирина Владимировна Одоевцева:

У него узкие, аристократические ноги, и он, как он сам не раз признавался, гордится ими. «По рукам и ногам порода видна» [37, 270].

София Юльевна Прегель (1897–1972), поэт, редактор и издатель журнала «Новоселье» (1942–1950):

Меня поражала способность Ивана Алексеевича преображаться. Вспоминаю Beausoleil над Монте-Карло, где незадолго до Второй мировой войны жили Бунины. Пасхальный стол с недоеденным куличом и обезглавленной сырной пасхой, несколько синекрасных яиц. За столом Бунин в каком-то странном одеянии говорит со мной об Одессе. Дальше все, как во сне: Бунин уходит к себе, мы остаемся, продолжаем домашний разговор, и вот, неожиданно для всех, появляется Иван Алексеевич. Он в светло-сером костюме,

в петлице у него белая гвоздика. Морщин как не бывало. Он полон неистребимой молодости. Сейчас Бунин спустится в Монте-Карло. Он загадочно улыбается, и всем становится весело [32, 353].

Георгий Викторович Адамович (1892–1972), поэт, литературный критик:

С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Седина шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике что-то величавое, римско-сенаторское, усилившееся с течением дальнейших лет [3, 112].

Владимир Пименович Крымов (1878–1968), авантюрист, предприниматель, издатель первого в России «журнала красивой жизни» «Столица и усадьба» (1913–1917):

Бунин постарел, но по-прежнему красивый мужчина. Совсем бритый, совсем Будда. Во всяком случае, мэтр. Так себя и держит [27, 201].

Никита Алексеевич Струве (род. 1931), публицист, профессор русской литературы, директор издательства «ИМКА-Пресс», внук П. Б. Струве:

Иван Алексеевич производил сильное впечатление. Чем? Своей скульптурной силой. В нем была какая-то отточенность. «...» Весь его облик был внешне неподвижным, что-то в нем было такое именно статуарное... Он казался каким-то холодным, замороженным [51, 41–42].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова (1904–1993), художница (псевд. Logiine), ученица Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова. Примыкала к так наз. «Парижской школе». В эмиграции с 1920 г. Друг семьи Буниных:

Лицо Бунина описать трудно. Все черты его лица были подвижны. Складки около глаз, морщины продольные на лбу, немного отвисшие щеки, раздвоенный волевой подбородок и, особенно, рот и губы были настолько подвижны, что казался Бунин «многоликим». Даже нос, немного орлиный, казалось, менялся.

Глаза небольшие, глубоко посаженные освещали это особенное лицо, и тоже молниеносно изменялось их выражение, и даже их цвет: голубой, серый, зеленоватый. Был в них молодой блеск и даже задор, искрящийся юмор и тайная грусть, и ласка, порой даже гнев, возмущение, даже ярость.

Когда И. А., всегда куря и сам увлекаясь, что-то рассказывал, то было необычайно интересно следить за сменой выражений его «многоликого» лица. Был он «неуловим» и поэтому не любил позировать для портретов, и даже для фотографий [32, 310].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Я, сидя с ним около его камина или перед окном нашей комнаты, часто удивляюсь, как меняется его внешность. В продолжение какого-нибудь часа он будто проходит разные эпохи жизни. То он кажется старым-престарым старцем, то человеком средних лет, то молодым. Его выразительное лицо меняется невероятно быстро, преображается под влиянием настроения, чувств и мыслей [37, 257].

Никита Алексеевич Струве:

Помню я его сразу после войны (Второй мировой. – Сост.), 75-летним, моложавым, благообразным. Невысокий (хотя себя считал ростом выше среднего), но очень прямой, нарочито подтянутый, неsgiбающийся, чуть деревянный [50, 249].

Банин (*Ум-эль Бану Асадуллаева, 1905–1992*), азербайджанская писательница, жившая во Франции:

Как всегда прямой, элегантный, одетый с иголочки, в этот вечер он казался только что выстиранным, накрахмаленным, выглаженным, обновленным, – чистеньким ребенком семи-десяти шести лет, пахнущим лавандой. Тропическая жара превратила Париж в раскаленную печь. <...> На Бунине была поверх рубашки легкая белая куртка. Все это, как и волосы, сверкало белизной – он был великолепен [53].

Иван Алексеевич Бунин. Из письма в редакцию журнала «Октябрь», 25 марта 1948 г.:

Вопреки совершенно нелепым вымыслам Юрия Жукова («На Западе после войны», десятая кн. «Октября» за прошлый год) я не «маленький и сухонький», а выше среднего роста, худощавый, но широкий в кости и в плечах, держусь твердо и прямо, – «фигура-то у вас, папаша, еще знаменитая!» – сказал мне один пленный красноармеец; назвать мое лицо «рафинированным лицом эстета» может только круглый дурак; губами я никогда не жую, пенсне не ношу – только прикладываю к глазам, когда смотрю вдаль; голос имею не «скрипучий», а еще настолько звучный, что, когда читаю в зале перед тысячной публикой, слышно в самых дальних углах [19, 76].

Ирина Владимировна Одоевцева:

На верхней площадке он останавливается, разворачивает длинный пестрый шарф, закутывающий его шею, и расстегивает пальто, зашпиленное сверху большой английской булавкой.

Эта английская булавка – без нее он и в Париже не обходится зимой – всегда удивляла меня. Ведь Бунин очень занят своей наружностью и элегантностью [37, 241].

Александр Васильевич Бахрах (1902–1985), литературный критик, мемуарист, с 1940 по 1944 год жил у Буниных в Грассе:

Обычно до завтрака он не одевался и появлялся в столовой в потрепанном бархатном шлафроке с ермолкой на голове и с дымящейся, вставленной в неприглядный вишневым мундштучок папиросой во рту. Эта самая ермолка и грошовый мундштучок то и дело куда-то исчезали. Ермолка подло проваливалась за кресла, мундштучок прятался в ворохах рукописей, за стопкой книг [8, 70].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин сидит в кресле перед камином, в длинном халате из верблюжьей шерсти, в ночных туфлях и... широкополой синей полотняной шляпе.

Я еще никогда не видела его в таком виде и, боясь выдать свое удивление, отвожу глаза и смотрю в огонь. Халат и туфли – хотя только восемь часов вечера, куда бы ни шло, но эта нелепая шляпа!..

Я знаю, что Анатолий Франс и Андре Жид в старости тоже увлекались «головными уборками». <...>

Но шляпа Бунина все же бьет все рекорды нелепости. Она похожа на птицу, распутившую крылья, на птицу, присевшую на его голову перед дальнейшим полетом. На синюю птицу [37, 242].

Зинаида Алексеевна Шаховская (1906–2001), поэт, прозаик, литературный критик, журналист, мемуаристка:

Как будто с 1939 года по 1948#й прошло не так уж много времени <...> но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было – жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький, хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем [57, 211].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин сидит в кресле у окна нашей комнаты (в марте 1948-го. – Сост.). В окне – «дальний закат, как персидская шаль». На фоне заката четко обрисовывается его гордый тонкий профиль, похожий на профиль какого-то римского императора на античной медали [37, 281].

София Юльевна Прегель:

Он похож на оципанного орла, и на лицо его уже легли нехорошие тени, предвестники конца [32, 352].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

– А что вы обо мне пишете? <...>

Я: «А внешнестью, я пишу, вы похожи на Вольтера».

Бунин, недовольно: «На Суворова. А в молодости, поверьте мне, я был широкоплеч» [57, 214].

Владимир Михайлович Зернов (1904–1990), потомственный врач, сотрудник Пастеровского института в Париже, лечил Бунина в последние годы его жизни:

Раз я пришел к Буниным с моим сыном, которому было тогда 4 года. Иван Алексеевич, худой, изможденный, одетый в белую пижаму, сидел в своей кровати. Мой сын, увидев его, сказал: «Это дед Мороз, но больной дед Мороз», хотя Иван Алексеевич не носил бороды и усов и, как будто, не мог иметь ничего общего с тем внешним обликом, каким изображают обычно деда Мороза, но в этом детском определении было что-то очень меткое. Для ребенка дед Мороз представляется, прежде всего, кем-то безусловно добрым, торжественным и красивым, но вместе с тем и необычным. В лице Ивана Алексеевича, в последние годы его жизни, было все это – и некая торжественность, и доброта, и строгость, и, прежде всего, лицо красивое, необычное, его нельзя было не заметить, нельзя не обратить внимания [32, 361].

Характер

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма М. Алданову. 31 июля – 1 августа 1947 г.:*

Всегда боюсь, что кто-то несколько любящий меня вдруг во мне разочаруется, – так пусть же поменьше любит меня [58, 135].

Борис Константинович Зайцев. *Из письма А. К. Бабореко. 3 октября 1966 г.:*

Иван был одареннейшая и своеобразнейшая фигура, – и большой шарм, и много нелегкого [5, 132].

Николай Яковлевич Рощин:

Вокруг имени И. А. Бунина крепкой стеной стоит нелепая легенда о «холодном академике», «оскорбленном помещике», «надменном олимпийце». Тот, кто перешагнул эту стену, тот знает редкое обаяние этого удивительного, нежного и доброго, деликатного и неистощимо жизнерадостного человека [32, 438].

Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак, 1902–1994), журналист, мемуарист, корреспондент газет «Последние новости» и «Сегодня» (Париж), главный редактор газеты «Новое русское слово» (США), в нобелевские дни секретарь И. А. Бунина:

Много раз слышал я такой отзыв:

– Какой холодный, ледяной писатель!

Так говорили те, кто совершенно не чувствовали Бунина и не понимали его произведений, в которых есть всегда глубокая, волнующая страстность. <...> Таков был Бунин в жизни – вечно мятущийся, беспокойный. Он мог усилием воли внезапно совладать с собой, побороть душевную тревогу и казаться холодным, далеким, учтиво безразличным. И только немногие знали, какой это давалось ему ценой и что именно происходило в душе писателя в минуты этого деланного, внешнего спокойствия [43, 186].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Слишком он ни на кого не похож, и часто ему не нравится то, что я привыкла считать чуть ли не за непреложную истину. Он, правда, ничего не навязывает, только бросит какое-нибудь замечание, – если сразу не схватишь, не поймешь, то разъяснить не станет, не станет и убеждать [35, 333].

Андрей Седых:

В нем была какая-то неподдельная стыдливость – Бунин не любил показывать на людях свою обнаженную душу. Пошлость презирал он во всех ее проявлениях и задыхался от гнева, когда слышал по своему адресу плоские комплименты. Но не страдал он и самоуничижением и как-то, уже после получения Нобелевской премии, с немного иронической важностью сказал мне:

– Что же, и я не последний писатель земли русской.

Когда позже мы вернулись к этой теме, Бунин уже совсем серьезно и твердо объяснил:

– Я человек самолюбивый. Не люблю срамиться. Держу свечку перед грудью [43, 186].

Георгий Викторович Адамович:

У Бунина <...> был редкостный слух к фальши, к «педали»: чуть только он слышал фальшь, впадал в ярость [35, 11].

Антонин Петрович Ладинский (1896–1961), поэт, исторический романист, мемуарист:

Все, что характерно для Бунина как для писателя, характеризовало его и как человека. Как и в своих писаниях, он был способен сказать резкое слово, определить человека одним словом и не любил мягкотелости [36, 214].

Александр Васильевич Бахрах:

Когда он в плохом настроении, он любит кого-нибудь изругать, выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые места «противника». Получается очень зло, но злоба выкипает в нем немедленно и без остатка. Поругается, успокаивается, и настроение тут же улучшается.

– Кого бы выругать? – обращается иногда к окружающим [8, 101–102].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Был капризен и привередлив, как истеричная красавица. Например, когда его приглашали участвовать в литературном вечере, он ставил непременно, совершенно категорическим условием, что будет выступать первым. И – приезжал вместо 8 часов в 10. Устроители волновались, звонили ему по телефону, но выпускать кого-нибудь раньше него не осмеливались. Делало его таким окружавшее его поклонение. Если же он встречал решительный отпор, то сразу отступал [20, 454].

Александр Васильевич Бахрах:

Он был несколько труслив и нерешителен, когда дело касалось, если можно так в данном случае выразиться, «мелочей», но иной раз почти героичен, когда дело шло о чем-то действительно существенном и принципиальном [8, 181–182].

Александр Васильевич Бахрах:

Иван Алексеевич часто не замечал того, чего заметить не хотел, того, из чего ему пришлось бы сделать какие-то не улыбающиеся ему выводы [8, 41].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванными трудными условиями его жизни или нездоровьем. К тому же его нервная система была совершенно расшатана. Нельзя забывать, что нервность он получил в «проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. Да, он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью [37, 235–236].

Иван Алексеевич Бунин. В записи И. В. Одоевцевой:

Я вообще легко плачу, – это у меня наследственное – романтическая певучесть и слезоточивость сердца, – от отца. Плакал, да и теперь плачу по разным поводам – от горя, от обиды, от радости. Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука [37, 253].

Александр Васильевич Бахрах:

Бунин был по природе застенчив. Был он застенчив, несмотря на видимость агрессивности, на врожденную насмешливость, на великое множество бьющих в точку злых стрел, направленных против своих современников, иногда даже литературных друзей, на унасле-

дованную им от отца любовь к нецензурной ругани, на то, что ему иногда в применении к себе хотелось бы употребить некий «*pluralis majestatis*»².

«...» Нередко он был неспособен принять то или иное решение, которое подсказывалось ему разумом или практическими соображениями, не в силах был обрубить с размаха единым ударом какие-то угнетавшие его «узлы» именно из-за своей... застенчивости. Но и обратно, этой же полускрытой стороной его характера можно объяснить... некоторые его «эскапады», некоторые едва ли не спровоцированные им самим инциденты, в которых погода – наедине с собой – он неизменно раскаивался и их болезненно переживал. [8, 56–57].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Комплексов у него было много, а уверенности в себе, кроме как в писателе, не много.
«...»

Кроме своего отщепенства от «подобающей» ему среды, Бунин также тяжело переживал, несмотря на всю свою славу, что он был самоучкой, что не окончил гимназии, что не имел университетского образования [57, 204–208].

Георгий Викторович Адамович:

Бунин, при всей своей внешней, открытой порывистости, был человеком с душевными тайниками, куда никому не было доступа. Вера Николаевна рассказала мне, например, что за всю совместную с ней жизнь он никогда, ни единым словом не упомянул о своей рано умершей матери, которую горячо любил. «Как-то, забывшись, что-то хотел сказать о ней и сразу осекся, побледнел и умолк» [3, 125].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

И. А. был очень скрытным, очень внутренне замкнутым человеком [32, 310–311].

Александр Васильевич Бахрах:

По природе своей Бунин был крайне недоверчив, но провести его, думается, ничего не стоило. Он был упрям, но его легко было переубедить, хотя по прошествии короткого срока он неминуемо возвращался к своей исходной точке, охотно забывая, что успел изменить свое мнение [8, 184].

Иван Алексеевич Бунин. В записи И. В. Одоевцевой:

Характер у меня тяжелый. Не только для других, но и для меня самого. Мне с собой не всегда легко. А «*vivre loin de moi même*»³, как жил, по его словам, Анатоль Франс, – не могу, не научился. Прав Малларме: «Поэт должен быть несчастен». А я все-таки... прежде всего поэт. Поэт! А уж потом только прозаик [37, 251].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из письма В. Зайцевой. Июнь 1943 г.:

Я думаю, что Яну тяжело не от внешних условий. Тяжело ему будет везде [21, 326].

Нина Николаевна Берберова (1901–1993), писательница, мемуаристка:

Он любил смех, он любил всякую «освободительную» функцию организма и любил все то, что вокруг и около этой функции [10, 294].

Александр Васильевич Бахрах:

² «Возвеличивающее множественное число» (лат.).

³ «Жить с самим собой» (фр.).

Обычно сдержанный, иной раз, чего-то недослышав или не разобравшись в том, что ему было сказано, он мог вдруг разъяриться, вспыхнуть, наговорить кучу ненужных слов, приносящих вред только ему самому. Впрочем, должен оговориться и подчеркнуть, что за четыре с небольшим года жизни под его кровлей подобные вспышки, сопровождаемые громом и молниями, я мог наблюдать не больше двух-трех раз [8, 41].

Николай Дмитриевич Телешов:

Это был человек, что называется, – непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задерживался он только у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона [52, 41].

Борис Константинович Зайцев:

Оседлости не любил Бунин – нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то и в Крыму, или вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу – тогда виз не требовалось! [23, 278]

Валентин Петрович Катаев:

Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живет, а как только надоест – отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки – то же самое. В чемодане же – записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык.

– Вроде вашей пепельницы?

– Именно.

Он говорил в шутливом тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды.

На меня производило впечатление, что Бунины живут всегда как бы на бивуаке, среди чужой мебели, чужих картин, драпри, посуды, ламп. Своего у них было лишь одежда, да постели, да пара плоских кожаных английских чемоданов с наклейками заграничных отелей [26, 89].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он <...> встает, подобрав полы халата, и мелкой, шаркающей походкой идет в комнату Веры Николаевны. Я за ним.

– Не могу долго сидеть на одном месте, хоть в другую комнату, такую же поганую, перейти, все же не так тоскливо. Будто легче дышать.

Он садится в обитое пестрым ситцем кресло около окна.

– Я ведь бродник. Что, никогда не слыхали такого слова? Это такие казаки-бродники бывали. Не могли усидеть на месте, все их тянуло бродить. Таков и я всю жизнь был. Ведь я почти весь мир объездил. Где только я не был? – Он вздыхает и закрывает глаза: – А теперь вот сиднем сижу, выйду на полчаса и обратно в свою конуру. Устал [37, 272].

Александр Васильевич Бахрах:

Не было у него <...> того, что неуклюже именуется «локаль-патриотизмом». Он любил Москву, но не менее уютно чувствовал себя в Одессе или в отцовском полуразоренном имении. Любил дальние странствия, Восток, Стамбул, который не переставал называть

по инерции Константинополем, но затем полюбил скалистый средиземноморский островок с его почти бутафорской красотой, и, кажется, нигде он так усердно и усидчиво не работал, как именно на Капри. А затем он полюбил Париж, полюбил вполне искренне, но еще больше – тихий Грасс, окружавшие городок жасминные и розовые поля, малопривлекательные для глаза, вид на Эстерель, в ясные дни – вид на бесшумное море. В Грассе он чувствовал себя совсем «дома». «...» Бунину было хорошо там, где он мог спокойно работать, совершать прогулки, иногда встречать людей, ему симпатичных. А что было на заднем плане – в сущности, было для него второстепенным [8, 135].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из дневника:

11 февраля 1932. Ян «...» ничем не может себя забавлять – он даже ни в одну игру не играет. Это важная черта в его характере. Он может наслаждаться только подлинной жизнью, и никакая игра ни в какой области его не занимает [55, 214].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

10 сентября 1930.

– Бывает с вами, И. А., – говорю я, – чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

– Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражания. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого.

– И ты воображаешь, что это хорошо? – спросила В. Н. (Бунина. – *Сост.*)

– В вас есть какая-то неподвижность, – сказала я.

– Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу...

И он показал рукой как... [28, 167–168]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Ни мстительности, ни зависти, ни мелочности мне никогда не приходилось видеть в Бунине. Напротив – он был добр и великодушен. Даже очень добр и великодушен. И по настоящему щедр. Так, он в 1930 году, прочитав талантливую первую книгу «Кадеты» Леонида Зурова, жившего в Эстонии, выписал его к себе, и с той поры и до самой своей смерти содержал его и заботился о его литературной карьере, хотя пребывание Зурова в его семье принесло Бунину много огорчений и неприятностей.

Но, кроме Леонида Зурова, у Буниных в Грассе часто гостил и Николай Рошин, по прозвищу «Капитан». От него, как и от Зурова, Бунин видел мало радости – и полное отсутствие благодарности.

Гостили в Грассе и другие, несмотря на то что, по определению самого Ивана Алексеевича, в те времена – до получения Нобелевской премии – в доме Бунина «жили впроголодь и часто обедали через день». Бунин любил окружать себя теми, кого считал своими учениками и последователями, и часто появлялся в Париже в сопровождении своей свиты. Злые языки прозвали ее «бунинским крепостным балетом» [37, 235].

Александр Васильевич Бахрах:

С людьми его отношения осложнялись тем, что подчас он мог убедить себя, что «когда любить, так без оглядки» (имею, конечно, в виду только сферу дружеских отношений). Он способен был привязаться к человеку, заранее зная все его недочеты, не считаясь с ними

и – больше того, – может быть, не вполне ясно сознавая, чем ему данный человек потрафил: полюбился, и все тут... Зато редко когда он мог подолгу ненавидеть [8, 133].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. *Из письма А. К. Бабореко. 5 января 1959 г.:*

Я менее злопамятного человека не знаю, чем он. Когда проходил известный срок того или другого отношения к нему человека, он забывал почти все [6, 79].

София Юльевна Прегель:

Веселый человек, желчный и нежный, умеющий и обласкать и выругать, духовный сын всего самого лучшего, что было в девятнадцатом столетии. Но это не живой анахронизм: он современен как никто [32, 353].

Творчество

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Главное – пишите только о страшном или о прекрасном. Как хорошо ни изобразите скуку, все равно скучно читать. Только о прекрасном и страшном – запомните [37, 230].

Антонин Петрович Ладинский:

В писательском ремесле больше всего он ценил правдивость, свежесть образа, наблюдательность, хорошую писательскую находку в виде какого-нибудь острого положения или редкого словечка, точный и вкусный эпитет, а в стихах – высокую мысль [36, 219–220].

Николай Дмитриевич Телешов:

Любивший культурное общество и хорошую литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное свое дарование отгранил до высокой степени [52, 41].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Поразительно было в Бунине то, что мне приходилось наблюдать и у некоторых других крупных художников: соединение совершенно паршивого человека с непоколебимо честным и взыскательным к себе художником.

И рядом с этим никакое ожидание самых крупных гонораров или самой громкой славы не могло бы заставить его написать хоть одну строчку, противоречащую его художественной совести. Все, что он писал, было отмечено глубочайшею художественною адекватностью и целомудрием [20, 454].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Н. А. Пушешникова:*

Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем. <...> Для меня главное – это найти звук. Как только я его нашел – все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не соглашаясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать, говорю самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобную этой фразе сказал не то Лермонтов, не то Тургенев. Перевертываю фразу на другой лад, получается пошлость, изменяю по-другому – чувствую, что опять не то, что так пишет Амфитеатров или Брешко-Брешковский... Многие слова – а их невероятно много – я никогда не употребляю, слова самые обыденные. Не могу. Иногда за все утро я в силах, и то с адскими муками, написать всего несколько строк. Я не знаю, как должен оплачиваться такой анафемский труд. А между тем я получаю по тысяче рублей за лист. И говорят, что это много. Я ехал на пароходе как-то с В. И. Немировичем-Данченко. Он сказал: «Ну что, разве вы, новые, литераторы?! Я пока доеду, здесь на пароходе напишу целый роман». В сущности говоря, все литературные приемы надо послать к черту! Пусть критики едят за это сколько угодно. Иначе никогда ничего путного не напишешь. Может быть, к старости я что-нибудь путное напишу. В сущности говоря, со времени Пушкина и Лермонтова литературное мастерство не пошло вперед. Были внесены новые темы, новые чувства и проч., но самое литературное искусство не двинулось. Проза Лермонтова и Пушкина остались не превзойдены <...>

Я всю жизнь испытываю муки Тантала. Всю жизнь я страдаю от того, что не могу выразить того, что хочется. В сущности говоря, я занимаюсь невозможным занятием. Я изнемо-

гаю от того, что на мир я смотрю только своими глазами и никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе [7, 246–248].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Сад наполнился лунным светом.

– Пойдем, посмотрим на море, – предложил Ян.

И когда мы с радостью все вышли на воздух, воскликнул:

– Боже, как хорошо! И никогда-то, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или другое, чувствовать, что надо извлечь из него какую-то пользу [35, 300].

Иван Алексеевич Бунин. В записи И. В. Одоевцевой:

Вот вам, я знаю, не нравится обилие описаний природы у меня. Вам они скучны. А ведь нельзя отделить человека от природы, ведь каждое движение воздуха – движение нашей собственной жизни. Мы слиты с природой, мы часть ее. Это надо чувствовать. Если не любить природы, не можешь любить и понимать человека. А тогда и писать не о чем и незачем. Мало ли какие приятные занятия можно, кроме писания, найти. Да и писание совсем не приятное занятие, а изнурительный труд. И мука [37, 270].

Иван Алексеевич Бунин. В записи В. П. Крымова:

Сколько жизненной силы уходит на работу, читают и думают, что вот так, между прочим, походя написал, не знают того, что о сюжете думаешь неделями и месяцами, а какая-нибудь фраза не ложится уютно, так полночи не спишь [27, 204–205].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего [28, 45].

Иван Алексеевич Бунин. В записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:

Я всегда советую молодым писателям не поддаваться одному вдохновенью. Нельзя творить, как птица поет. Надо строить. Если дом строить – нужен план, и каждый кирпич к кирпичу подогнать и скрепить. Работать надо! В большой талантливости, в блеске – опасность. Слишком легко вам все дается! [32, 308]

Валентин Петрович Катаев:

Мысль о ежедневном труде Бунин несколько развил.

– Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по несколько часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком, – сказал он, посмотрев в окно, – опишите собаку. Одно, два четырехстишия. Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево. Море. Скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущей к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип не скрип. Звон не звон. Шорох не шорох. Что-то другое – галечное, – требующее единственного неповторимого, верного слова. <...> Наконец опишите воробья... <...> Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир

и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы. Этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать [26, 30].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

8 августа 1927. Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так, «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. «Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами; «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец [28, 35].

Иван Алексеевич Бунин. Из дневника:

7. V.40. Перечитал свои рассказы для новой книги. Лучше всего «Поздний час», потом, м. б., «Степа», «Баллада».

Как-то мне, – как бывает у меня чаще всего ни с того, ни с сего, – представилось: вечер после грозы и ливня на дороге к ст. Баборыкиной. И небо и земля – все уже угрюмо темнеет. Вдали над темной полосой леса еще вспыхивает. Кто-то на крыльце постоянного двора возле шоссе стоит, очищая с голенищ кнутовищем грязь. Возле него собака... Отсюда и вышла «Степа».

«Поздний час» написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо назвал «Ликой».

«Музу» выдумал, вспоминая мои зимы в Москве на Арбате и то время, когда однажды гостил летом на даче Телешова под Москвой.

В феврале 1938 г. в Париже проснулся однажды с мыслью, что надо дать что-нибудь в «Посл. Н.» в покрытие долга, вспомнил вдруг давние зимы в Васильевском и мгновенно в уме мелькнула суть «Баллады» – опять-таки ни с того, ни с сего [13, 436].

Иван Алексеевич Бунин. В записи А. Седых:

Вот думают, что история Арсеньева – это моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что, поверив в то, что она существовала, <...> влюбился в нее <...> Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я ее выдумал <...> Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, может быть, главная моя любовь за всю жизнь. А оказывается, ее не было [44].

Иван Алексеевич Бунин. В записи А. В. Бахраха:

Заглавия рассказов не должны ничего объяснять <...> это дурной тон. С какой стати давать читателю сразу же ключ, пускай он хоть немного поломают себе голову над заглавием [8, 73].

Николай Дмитриевич Телешов:

Работать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня летом на даче, то, бывало, целыми днями, затворившись, сидит и пишет; в это время не ест, не пьет, только работает; выбежит среди дня на минутку в сад подышать и опять за работу, пока не кончит [52, 41].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

И. А. пишет по 3–4 печатных страницы в день. Пишет один раз рукой, перед обедом дает перепечатывать их В. Н., исправляет и дает переписывать уже на плотной бумаге с дырочками мне.

Вечером ходит со мной гулять и говорит о написанном. Пишет он буквально весь день, очень мало ест за завтраком, пьет чай и кофе весь день. Вот уже больше месяца, если не полтора, длится такой режим. Нечего говорить, что он поглощен своим писанием полностью. Все вокруг не существует [28, 265].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

Главное, что часто изумляло меня в И. А., – что он бывает удивительно смиренен в своем ремесле. Возьмет маленький кусочек и выполняет его с почти педантической тщательностью. А потом оказывается, что собрание таких кусочков дает блестящий фельетон. Часто я сама дивлюсь скромности его требований, я в сравнении с ним нетерпелива, требовательна, хочу все чего-то огромного... а он напишет что-нибудь крохотное и радуется сам: как хорошо написал!

Это изумительная черта в таком гордом, нетерпимом часто человеке [28, 219–220].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

Он сидит по 12 часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там <...> Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах – не знаю, как назвать еще, словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром [28, 266].

Иван Алексеевич Бунин. В записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:

Я пишу по утрам. Все мои – да и вы наверно – упиваетесь утренним кофе, хрустите круасанами, – а я не могу этого. Ничего не ем, пока пишу до завтрака. Не могу оторваться, а если пью, то только спиртное – горло промочить [32, 302].

Галина Николаевна Кузнецова:

Во время писания к нему можно было смело войти в кабинет, взять что нужно и уйти – он никогда не сердился, может быть, даже не замечал входившего. Думаю, вообще трудно найти среди писателей более легкого, нетребовательного человека, каким он был, когда писал. Можно было дивиться его смирению, когда он начинал с какой-нибудь самой скромной маленькой картинки, сценки, когда он, столь прославленный в своем изобразительном искусстве, подолгу вглядывался в себя, чтобы поточнее выразить то единственное, что надлежало сказать при описании старухи-побирушки «в прямых чулках на сухих ногах» или «по-вдовьи свернувшейся» на крыльце собаки [6, 224].

Валентин Петрович Катаев:

Обычно, внимательно и терпеливо выслушав мой новый рассказ от начала до конца, Бунин не вдавался в его подробное обсуждение, а ограничивался двумя-тремя коротенькими замечаниями по поводу того, где у меня хорошее место и где плохое; почему именно одно плохо, другое – хорошо; и какие нужно из этого сделать практические выводы.

Он всегда касался мелочей, но неизменно приводил их к важным сообщениям. Так, например, я узнал, что в литературе нет запретных тем: важно лишь, с какой мерой такта будет об этом сказано, и я навсегда усвоил себе несколько бунинских рекомендаций: такт, точность, краткость, простота, но, разумеется, – и Бунин это подчеркивал много раз, – он говорил не о той простоте, которая хуже воровства, а о простоте как следствии очень боль-

шой работы над фразой, над отдельным словом – о совершенно самостоятельном видении окружающего, не связанном с подражанием кому-нибудь, будь то хоть сам Лев Толстой или Пушкин, то есть об умении видеть явления и предметы совершенно самостоятельно и писать о них абсолютно по-своему, вне каких бы то ни было литературных влияний и реминисценций.

В особенности Бунин предостерегал от литературных штампов, всех этих «косых лучей заходящего солнца», «мороз крепчал», «воцарилась тишина», «дождь забарабанил по окну» и прочего <...>.

К числу мелких литературных штампов Бунин также относил, например, привычку ремесленников-беллетристов того времени своего молодого героя непременно называть «студент первого курса», что давало как бы некое жизненное правдоподобие этого молодого человека и даже его внешний вид: «студент первого курса Иванов вышел из ворот и пошел по улице», «студент первого курса Сидоров закурил папиросу», «студент первого курса Никаноров почувствовал себя несчастным».

– До смерти надоели все эти литературные студенты первого курса, – говорил Бунин [26, 70–71].

Никита Алексеевич Струве:

Что меня в нем поразило – и что потом я встречал и у других писателей – необычайное внимание. Это исходило от его психической напряженности. У Мандельштама есть прекрасная формула: внимание – главная доблесть поэта. Внимание, которое проявил писатель, меня покорило. Он всегда воспринимал человека в его индивидуальности, не массу, а каждого в отдельности. И этот взгляд писателя на мальчика четырнадцати лет – я его хорошо помню. Эта обостренность меня настолько поразила, что я понял ее как основную часть писателя [51, 43].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Идем по набережной Круазет. Среди пальм масса гуляющих. Много иностранцев.

– Вот сфотографировал, – смеется И. А., – вон ту, что впереди. У меня ведь не глаз, а настоящий фотографический аппарат. Чик-чик и готово. Навсегда запечатлел. А вот та, что вихляет бедрами, в коротких штанишках, и тот, с ослиными ушами, – не видели? Мимо прошли. А еще художница! [32, 307]

Валентин Петрович Катаев:

Бунин в прекрасном, несколько саркастическом настроении. Он искоса смотрит на могучую даму, как бы прислушиваясь к шелковому треску ее корсета. Можно подумать, что он собирается тут же, не сходя с места, ее описать. Но описать не вообще, а одним штрихом. Сразу видно, что он ищет этот единственный, совершенно точный штрих, и я вместе с тем понимаю, что он втайне дает мне литературный урок.

Затем по его лицу я вижу, что он нашел необходимый штрих и что его находка драгоценна и единственна. Он делает рукой легкий жест, как будто бы издали проводит вокруг лица толстой дамы магический музыкальный овал.

Все замирают, ожидая, что он скажет.

– Так-с, – говорит он, делая указательным пальцем в воображаемом овале две запятушки кончиками вверх, в разные стороны. – Вам, Елена Васильевна, не хватает маленьких черных усиков, и вы вылитый... Петр Великий.

И вдруг мы все увидели лицо Петра [26, 52–53].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Перед кафе на деревянной стойке – корзины с устрицами.

Рыжеволосый, веснушчатый парень в розовой рубашке открывает устрицы кривым ножом и укладывает их на блюдо со льдом.

– Ишь, как ловко работает. Молодец! – восхищается Бунин. – А ведь это нелегко. Я пробовал открыть устрицу. Никак не мог. А он – раз и готово! Без промаха, без осечки.

Парень, понимая, что иностранный господин заинтересовался им, особенно быстро и щеголевато работает ножом.

– Две дюжины, – заказывает ему Бунин. – Самых крупных.

Парень широко улыбается и, взглянув на нас зеленовато-серыми влажными глазами, с еще большей энергией начинает орудовать ножом.

– Вы заметили, – говорит Бунин, входя в кафе, – что у него глаза похожи на устриц?

– А ведь правда, на устриц, – соглашаюсь я радостно. – Такие странные, будто скользкие, неприятные. Как я сразу не догадалась? На устриц! Будто нарочно у продавца устриц глаза, как две устрицы [37, 262].

Александр Васильевич Бахрах:

– Пишут, пишут братья-писатели, а скольких вещей они и не знают...

– ?

– Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях... Не ведают самых элементарных законов физики, не знают анатомии, свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автобуса. Мы отправлялись в Ниццу.

– Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются синие жилки. А что это значит, никто и не знает, а я по этим жилкам да еще по каким-нибудь едва заметным признакам, которые большинство из пишущих не замечает, опишу вам ее наружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как-то сидел в ресторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой-то лысый господин. Я и говорю Зайцеву: «Борис, погляди на его уши, на его манеру есть, на то, как он сидит, и расскажи мне про него». Зайцев поглядел, задумался и, отшутившись, переменял разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господина написать. Для писателя это полезнейшая игра.

А Алданов, прекрасный писатель, издали женщины от мужчины, кажется, не отличит. А ведь он совсем не близорук! <...>

А у Леонида Андреева Иуда на закате взошел на Елеонскую гору... распростер руки, и «тень его казалась черным распятием». И эффект-то какой дешевый. Но не в этом дело: я ему заметил: «Леонид, а ведь солнце-то заходит с другой стороны Мертвого моря».

«Ты вечно о пустяках», – недовольно возразил мне Андреев.

Но ведь это не пустяки. Надо уметь привирать [8, 85].

Александр Васильевич Бахрах:

Он написал рассказ, один из героев которого – известный московский врач, первоначально именовался Николаем Михайловичем Данилевским. Рассказ был уже начисто отстукан на машинке, когда, проглядывая машинопись, он вдруг решил перекрестить своего героя в Григория Яковлевича. Пришлось все заново переписывать.

– Не все ли равно, каково имя-отчество Данилевского?

– О, нет. Надо, чтобы имя подходило к герою, чтобы оно сливалось с его обликом. Неужели вы не почувствовали, что первое сочетание не подходит к персонажу? Мог ли он быть Николаем Михайловичем? Надо, чтобы герой ужился со своим именем, чтобы оно его не корбило. Я часто примеряю имя – потом вижу, что оно не подходит, режет ухо, и тогда меняю его. Это необъяснимая, таинственная магия имен. Можно потопить хорошую вещь неудачным, неподходящим подбором имен.

И на его письменном столе я видел длинные списки имен и фамилий, разбитые на категории, на национальности, по областям, по сословиям, длинные выписки из святцев, которые он внимательно изучает с этой целью [8, 107].

Александр Васильевич Бахрах:

Работал он не только над своими рассказами, по несколько раз им переписывавшимися. Одновременно он записывал в различные тетрадки с картонными обложками различных цветов, до которых был большой любитель, какие-то словечки, обрывки будущих диалогов для еще нерожденных произведений, составлял списки пришедших ему на память областных выражений (к которым, собственно, никогда не прибегал) и даже списки ругательств, собирал по категориям имена и отчества для своих будущих героев, придумывал им фамилии, уверяя, что для каждого писателя необычайно важно дать своему герою подходящее имя и что неудачно окрещенный герой одним своим именем способен погубить любое произведение. «...» Вижу теперь перед глазами эти длинные колонки имен и фамилий, расположенные по категориям: купцы, мещане, дворяне, татары, евреи, учителя, доктора, писатели и т. д. [8, 176].

Иван Алексеевич Бунин. В записи А. В. Бахраха:

Гоголь, конечно, гениальный писатель. Смешно это отрицать, но разрешите мне его не очень любить. «...» Где он мог выкопать этикие мертворожденные фамилии, как Яичница, Земляника, Подколесин, Держиморда, Бородавка, Козопуп? Ведь это для галерки – это даже не смешно, это просто дурной тон. Даже в фамилии «Хлестаков» есть какая-то неприятная надуманность, что-то шокирующее. Да и Антон Павлович со своим Симеоновым-Пищиком, несмотря на весь свой вкус, сел в калошу. Нет, удачная фамилия – важнейшая для писателя вещь. Полюбуйтесь только фамилиями у Толстого – это подлинные алмазы [8, 107–108].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

– Ты много записываешь? – спросила я.

– Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если сразу не войдет в меня, то, значит, душа моя этого не принимает и не примет, что бы я ни делал [35, 333].

Иван Алексеевич Бунин. Из письма М. Алданову. 2 сентября 1947 г.:

В молодости я очень огорчался слабости своей выдумывать темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, – сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький... А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться «не по дням, а по часам», как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, – один Бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совсем неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, которого я не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю «необыкновенной памятью», что я все пишу «с натуры», то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел! Всякая «натура» входила в меня, конечно, всю жизнь и очень сильно, но ведь одно дело – сидеть и описывать то дерево, что у меня под окном, – или заносить в записную книжку кое-что об этом дереве, – и совсем другое дело – писать «Игната», сидя на Капри:

неужели Вы думаете, что для того, чтобы написать зимнюю ночь, в которую Игнат шел с вокзала в свое село, в Извалы, я вынимал записные книжки? [58, 138]

Иван Алексеевич Бунин:

23. II.16. Дневник – одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие [54, 125].

Иван Алексеевич Бунин. В записи Г. Н. Кузнецовой:

Нет ничего лучше дневника. <...> Тут жизнь, как она есть – всего насовано. Нет ничего лучше дневников – все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь – это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечерееет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши... Да, что! вот так бы и написать... [28, 96]

Александр Васильевич Бахрах:

Как-то во время прогулки Бунин стал подробно рассказывать мне о том, что он ведет дневник, и, чуть смутившись, добавил, что невольно делает это с оглядкой на печать.

– Ведь это профессиональная деформация, – добавил он, улыбнувшись, но одновременно уверял, что ему, вероятно, было бы стыдно, если бы эти дневники он увидел в печати. – Впрочем, о многом я не мог писать, хотя бы об отношениях с некоторыми женщинами. Ведь об этом нельзя рассказывать. Впрочем, как бы там ни было и что бы с моими дневниками ни случилось, полный их текст никогда не увидит света. <...>

А в другой раз Бунин признавался, что записывать виденное или протокольно отмечать пережитое противно его природе. «Я умею только выдумывать» [8, 120].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

И. А. говорил мне, как надо было бы писать дневник:

– Надо, кроме наблюдений о жизни, записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи... Такой дневник есть нечто вечное [28, 115].

Александр Васильевич Бахрах:

На его письменном столе много папок и тетрадей в твердых переплетах. В них он заносит всякую всячину, материалы для будущей работы, выписки из книг. На толстой холщовой тетради крупными каллиграфическими буквами наклейка с надписью: «Копилка» – и ниже: «Земля и люди» [8, 73].

Вера Николаевна Бунина:

На творчество Бунина путешествия действовали всегда очень плодотворно. Писать же он должен был в спокойной обстановке, в простой, но удобной для него комнате. Он всегда утверждал, что знает, в какой комнате он может писать, а в какой нет [35, 192].

Валентин Петрович Катаев:

Он сказал мне, что никогда не пользуется пишущей машинкой, а всегда пишет от руки, пером.

– И вам не советую писать прямо на машинке. После того, как вещь готова в рукописи, можно перепечатать на машинке. Но само творчество, самый процесс сочинения, по-моему, заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между

головой, рукой, пером и бумагой, что и есть собственно творчество. <...> Когда вы сочиняете непосредственно на пишущей машинке, то каждое выстуканное вами слово теряет индивидуальность, обезличивается, в то время как написанное вами собственноручно на бумаге, оно как бы является материальным, зримым следом вашей мысли – ее рисунком, – оно еще не потеряло сокровенной связи с вашей душой – если хотите, с вашим организмом, – так что если это слово фальшиво само по себе, или не туда поставлено, или неуместно, бестактно, то вы это не только сейчас же ощутите внутренним чутьем, но и тотчас заметите глазами по некоторому замедлению, убыстрению и даже изменению почерка. Одним словом, ваш почерк – единственный, неповторимый, как часть вашей души – просигнализирует вам, если что: «Не то!»... [26, 74].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

Ручку он держит между третьим и четвертым пальцами, а не между вторым и третьим, как все люди [28, 33].

Валентин Петрович Катаев:

Он писал темно-зелеными чернилами автоматической ручкой с золотым пером, если не ошибаюсь, фирмы «Монблан», причем до конца исписанную страницу не промокал, а нетерпеливо откладывал в сторону сохнуть; если же он что-нибудь вписывал в записную книжку, то махал ею перед собой, чтобы страничка скорее высохла [26, 68].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Ян спросил: «Зачем писатель зачеркивает? Затем, что хочет уничтожить. А потом – ваяние Гофмана, Щеголева (литературоведы, пушкинисты. – Сост.) стараются восстановить варианты. От этого повеситься надо!» [55, 156]

Александр Васильевич Бахрах:

Когда он обрекал пламени свои черновики, он сам очень старательно засовывал их в свою печурку, сам их поджигал и не отходил от печурки до тех пор, пока не превращался в пепел последний листок покрытых его красивым почерком бумаг [8, 176].

Николай Дмитриевич Телешов:

К произведениям своим всегда относился крайне строго, мучился над ними, отделял, вычеркивал, выправлял и вначале нередко недооценивал их. Так, один из лучших своих рассказов – «Господин из Сан-Франциско» – он не решался отдать мне, когда я составлял очередной сборник «Слово»; он считал рассказ достойным не более как для фельетона одесской газеты. Насилу я убедил его напечатать в «Слове», которое пользовалось среди читателей большим вниманием и спросом [52, 41].

Александр Васильевич Бахрах:

Все последние годы его жизни, те периоды, когда он мог еще работать, ушли, главным образом, не на писание нового, а на пересмотр и переработку почти всех его старых произведений. Уже однажды сжатые тексты, отредактированные им для собрания сочинений, изданного «Петрополисом», еще раз подвергались изменениям, еще раз им до сухости сжимались, заново – в который раз? – вытравлялось все, что казалось ему лишним, водянистым, недостаточно определенным или слишком лиричным [8, 178].

Антонин Петрович Ладинский:

У меня не было случая наблюдать за процессом его творчества и неловко было залезать в его святая святых, но я часто видел, как он правил корректуру своих рассказов, так как писал в той же газете («Последние новости». – Сост.), что и он. «Бунин» проходил в редакторский кабинет. Там он нацеплял на нос старомодные пенсне, брал гранки в руки и вдруг становился серьезным. В этой нахмуренной строгости выражалось его сознание ответственности за написанное. Он понимал, что это последний момент, когда еще можно изменить фразу, найти другой эпитет, исправить ошибку. Гранки он правил очень тщательно, не считаясь с тем, что одно новое слово, вставленное в строку, потребует перебора всего абзаца. Закончив корректуру, Бунин писал своим крупным и четким почерком: «так печатать» и ставил подпись [36, 222].

Галина Николаевна Кузнецова:

Он был снисходительнее многих в том, что касалось критики его самого, замечаний по поводу какого-нибудь выражения в его рукописи, – выслушивал эти замечания внимательно, и если находил, что верно, исправлял. Был болезненно чувствителен к внешнему виду своей только что перепечатанной рукописи, хотел, чтобы бумага всегда была чистая, лента в машинке яркая, был неумолимо требователен к знакам препинания, находя их такими же важными, как дыхание в пении. Он сам готовил свои книги к печати и отсылал их в таком виде и с такими точными пометками для печатающих, что, казалось, дальше уже и делать над ними нечего...

Он хотел, чтобы все было совершенно [6, 225].

София Юльевна Прегель:

Вспоминаю, что в каком-то из рассказов, присланном им для журнала «Новоселье», меня смутил один предлог. Написала Ивану Алексеевичу, и он тут же ответил, что это непростительная небрежность переписчика и отчасти его собственная: недосмотрел. Если бы рассказ напечатали в первоначальной редакции, он был бы в отчаянии. <...> А знаки препинания Ивана Алексеевича! О них можно написать поэму. Каждая запятая оправдана, и не только синтаксически... [32, 353]

Марк (Мордух) Вениаминович Вишняк (1883–1976), публицист, политический деятель, юрист, ответственный секретарь редакции журнала «Современные записки»:

И. А. Бунин, как известно, с почти болезненной щепетильностью относился ко всякому печатаемому им слову, порядку расположения слов, пунктуации и т. п. До последней минуты перед выпуском книги не переставал он посылать в ускоренном порядке письма («пневматички») или телеграммы со слезной мольбой «непреренно», «обязательно» опустить или вставить такое-то слово или изменить знак препинания. «Заклинаю Вас – дайте мне корректуру еще раз!! Это совершенно необходимо!! Иначе сойду с ума, что напутая что-нибудь». Или – «давать рукопись „в окончательном виде“ невозможно. Многое уясняется только в корректуре. Если хотите меня печатать, терпите. Чудовищно, непостижимо, но факт: Толстой потребовал от „Северного“ вестника“ сто корректур „Хозяина и работника“. Во сколько раз я хуже Толстого? В десять? Значит – пожалуйста 10 корректур. А я прошу всего две!!» – «Ради Бога, не торопите меня с присылкой рукописи. Чем больше пролежит она у меня, тем будет лучше для всех: для типографии, для меня, для потомства, для славы эмиграции». И так почти каждый раз [19, 138].

Иван Алексеевич Бунин. Из письма М. Алданову. 31 июля – 1 августа 1947 г.:

Горячо прошу, прямо умоляю, не читать меня, если у Вас не будет собрания моих сочинений издания «Петрополиса», – до всяких других изданий ради Бога не касайтесь:

я идиотичен, психопатичен насчет своих текстов, вспомню вдруг, например, что в таком-то рассказе моем не вычеркнуто в первом издании какое-нибудь лишнее, глупое слово – и готов повеситься, кричу, как Толстой, когда вспоминал что-нибудь неприятное из своих слов или поступков, на весь дом: а-а-а! [58, 135]

Хранитель языковых традиций

Иван Алексеевич Бунин. *«Окаянные дни»:*

22 апреля 1919. Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходящим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чтение в сердцах... Учинить допрос с пристрастием... Или – или: третьего не дано... Сделать надлежащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку... Ловкость рук... Нововременские молодцы...» А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант, вместо «я сел писать» – «я оседлал своего Пегаса», жандармы – «мундиры небесного цвета» [17, 95].

Александр Васильевич Бахрах:

Очень долго он не хотел примириться с новой орфографией, серьезно уверяя, что никакое слово «без твердого знака не стоит на обеих ногах», а затем картинно пояснял, что «лес» без «яти» теряет весь свой смолистый аромат, тогда как в «бесе» через «е» уже исчезло все дьявольское! [8, 121]

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма главе Издательства имени Чехова Н. Р. Вредену. 9 сентября 1952 г.:*

Думаю, что для меня, классически кончающего ту славную литературу, которую начал вместе с Карамзиным Жуковский, а говоря точнее – Бунин, родной, но незаконный сын Афанасия Ивановича Бунина и только по этой незаконности получивший фамилию «Жуковский» от своего крестного отца, – для меня (одного) могло бы Ваше издательство сделать исключение (издавать книги по старой орфографии. – Сост.). Но вот не сделало [16, 149].

Владимир Брониславович Сосинский (*Бронислав Брониславович Сосинский-Семихат; 1900–1987*), писатель, литературный критик:

Совершенным анекдотом звучит коротенькое, из одной фразы состоящее предисловие И. Бунина к «Темным аллеям», вышедшим в Нью-Йорке уже после победы Советского Союза над фашизмом: «Прошу считать эту книгу напечатанной по старой орфографии», поскольку давно уже во всех типографиях мира линотипные матрицы русских старых букв были сданы на переплавку [46, 379].

Георгий Викторович Адамович:

Однажды, отвечая Ивану Алексеевичу на вопрос, из-за чего поссорились два молодых парижских поэта, я сказал:

– Недоразумение у них произошло на почве...

Бунин поморщился и перебил меня:

– На почве! Бог знает как все вы стали говорить по-русски. На почве! На почве растет трава. Почва бывает сухая или сырая. А у вас на почве происходят недоразумения. <...> Неужели вы не чувствуете, что это «на почве» звучит по-газетному? А хуже нашего теперешнего газетного языка нет ничего на свете [3, 117].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин требовал, чтобы говорили: «у вас хороший или плохой вид», и считал «вы хорошо или плохо выглядите» недопустимым [37, 231].

Валентин Петрович Катаев:

Что это за Иисус Христос в белом венчике из роз? Он (А. Блок в поэме «Двенадцать». – Сост.), вероятно, хотел сказать в веночке. Венчик – это не веночек, а совсем другое. Тут даже нет элементарного чутья русского языка. Типичнейший модернизм! [26, 84]

Иван Алексеевич Бунин. Из письма А. Седых. 15 января 1951 г.:

Есенин отлично знал, что теперешний читатель все слопаёт. Нужна рифма к слову «гибель» – он лепит наглую х... «выбель». Вам угодно прочесть, что такое зимние сумерки? Пожалуйста:

Воют в сумерки долгие, зимние
Волки *грозные* (!) с тощих полей,
По дворам в догорающем инее
Над застрехами храп лошадей...

Почему храпят лошади в зимние сумерки? Каким образом они могут храпеть над застрехами? Молчи, лопай, что тебе дают! Благо никто уже не знает теперь, что застрехой называется выступ крыши над стеной. Не знает и Адамович – он вряд ли знает даже и то, что такое лошади! И умиляется до слез, как «блудный сын» (Есенин) возвращается к родителям в деревню, погибшую оттого, что возле нее прошло – уже 100 лет тому назад, шоссе, от которого «мир таинственный» деревни «как ветер, затих и *присел*» [43, 218].

Александр Васильевич Бахрах:

– А вы много знаете русских слов для обозначения зада? (Сказал даже грубее!)

– ??

– А есть прекрасные: сахарница, хлебница, усест. Помните – да вы, конечно, помнить не можете – у Бенедиктова про наездницу, которая гордится «усестом красивым и плотным». Жалко, что у меня нет здесь стихотворений Бенедиктова. Я бы вам непременно прочитал вслух. Они гораздо звучнее Бальмонта, да и умнее, но это само собой разумеется [8, 111].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык – его остроумие (народный язык), яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено [28, 33].

Иван Алексеевич Бунин. Из письма М. Алданову. 23 августа 1947 г.:

Это <...> в моем естестве – и пейзаж, и язык, и все прочее – язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотничий, и дурачков, и юродов, и нищих... <...> И клянусь Вам – никогда я ничего не записывал; последние годы немало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а «для потомства» – жаль, что многое из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается... [58, 136–137]

Мировосприятие

Иван Алексеевич Бунин. *Из дневника:*

9/22 января 1922. «Я как-то физически чувствую людей» (Толстой). Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимаю через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно! [55, 62]

Борис Константинович Зайцев:

Он обладал необыкновенным чувственным восприятием мира, все земное, «реальное» ощущал почти с животной силой – отсюда огромная зрительная изобразительность, но все эти пейзажи, краски, звуки, запахи, – обладал почти звериной силой обоняния, – думаю, подавляли его в некоем смысле, не выпускали как бы из объятий [21, 329].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя и оно сжигает меня. Или нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру [37, 282].

Николай Алексеевич Пушешников (1882–1939), племянник И. Бунина, переводчик, мемуарист:

Иван Алексеевич говорил, глядя на тень от дыма из паровоза, пробежавшую по полям, и на круглые белые клубы его, таявшие в прозрачном блестящем воздухе: какая это большая радость – существовать. Только видеть, хотя бы видеть лишь один вот этот дым и вот этот свет. Если бы у меня не было рук и ног <...> и я бы только мог сидеть за калиткой на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то это не мешало бы мне быть счастливым. Одно нужно: только видеть и дышать. Я всегда повторяю: ничто не дает такого наслаждения, как краски [7, 240].

Галина Николаевна Кузнецова. *Из дневника:*

...Шли по парку, полному пальм, кактусов самой разнообразной формы, похожих то на гигантских инфузорий, то на пресмыкающихся, то на толстые зеленые подошвы, утыканные иглами. Восхищались великолепными агавами, имеющими форму громадных роз или тюльпанов зеленого цвета. Я остановила И. А. у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. Он посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что, если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно» [28, 50].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Для меня природа так же важна, как человек. Если не важнее. И всегда так было. Вот я недавно перечитал свои юношеские записки. Ведь я писал их только для себя. Мне и в голову не приходило их показывать кому-нибудь, даже брату Юлию. А сколько описаний ветра,

облаков, травы, леса, столько в них встреч с природой! Я писал о природе гораздо больше, чем о людях, с которыми сталкивался. Я любил, я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, морем, ветром.

Я мучился, не умея этого высказать словами. Я выходил утром страстно взволнованный и шел в лес, как идут на любовное свидание. Как остро я любил жизнь и все живое. До страсти. Пастернак назвал свой сборник стихов «Сестра моя – жизнь». Но для меня жизнь была не только сестра, а сестра, и мать, и любовница, и жена – вечная женственность [37, 283].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи Т. Д. Муравьевой-Логиновой:*

Да, чувствую в себе всех предков своих... и дальше, дальше чувствую свою связь со «зверем», со «зверями» – и нюх у меня, и глаза, и слух – на все – не просто человеческий, а нутряной – «звериный». Поэтому «по-звериному» люблю я жизнь. Все проявления ее – связан я с ней, с природой, с землей, со всем, что в ней, под ней, над ней. И смерти я не дамся ни за что. Боюсь я ее – ох, как боюсь [32, 302].

Нина Николаевна Берберова:

У Бунина не было чувства людей, у него в сильной степени было чувство себя самого; и при его почти дикарском эгоцентризме Бунин вовсе не умел ни брать, ни давать в личном общении, а часто бывал и настороже: как бы не задели его дворянского (и литературного) достоинства, и считал, что писателю прежде всего надо быть наблюдательным человеком. «Вот подметить, что края облаков – лиловые» [10, 306].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Как ни удивительно, Бунин всегда наслаждался каждым, даже мимолетным общением с природой. Каждый порыв ветра, прозрачность воздуха, надвигающаяся гроза, перемена освещения – все регистрировалось им мгновенно, волновало и радовало.

Он был неразрывно связан с природой, и связь эта ощущалась им иногда не только как радость, но и как мучение – настолько была она самодовлеющей, все себе подчиняющей, настолько прелесть мира до боли восхищала и терзала его.

Зрение, слух и обоняние были у него развиты несравненно сильнее, чем у обыкновенных людей.

– У меня в молодости было настолько острое зрение, – рассказывал он, – что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух поразительный – я слышал за несколько верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние – я знал запах любого цветка и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение.

Раз со мной такой случай произошел. Поехали мы с моей первой женой, Аней, к ее друзьям, на дачу под Одессой. Выхожу в сад вечером и чувствую – тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов тянет резедой.

– А у вас тут и резеда, – говорю хозяйке.

А она меня на смех подняла:

– Никакой резеды нет. Хотя у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Спросите садовника.

– Пари, – предлагаю, – на 500 рублей.

Жена возмущена:

– Ведь проиграешь!

Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах – а их было много – искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то широким, декоратив-

ным листом. И как я был счастлив! Стал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости [37, 253].

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова:

Бунину были необходимы различные люди, как и различная природа, а не только ее красоты. Без людей и природы Бунин жить не мог – тосковал без них и творчески иссякал. Но «людской материал» исчерпывался им быстро. Бунин вдруг остывал, на лице его, столь выразительном, появлялась усталость. Тогда он вставал и поднимался к себе, чаепитие продолжалось без него.

Было бы неверно сказать, что Бунин относился к людям только по-писательски, как к «материалу». Был у него и живой интерес к их участи. Совсем не был он «сух», как иногда казалось [32, 315].

Иван Алексеевич Бунин:

Всю жизнь не понимал я никогда, как можно находить смысл жизни в службе, в хозяйстве, в политике, в наживе, в семье. <...> Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть – даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя [15, 127–128].

Иван Алексеевич Бунин:

Нет, это только ничего не значащая случайность – то, что мне суждено жить не во времена Христа, Тиверия, Не в Иудее, не на острове Кипре, а в так называемой Франции, в так называемом двадцатом веке. За всю долгую жизнь с ее бумагами, чтением книг, странствиями и мечтами я так убедил себя, будто я знаю и представляю себе огромные пространства места и времени, столько я жил в воображении чужими и далекими мирами, что мне все кажется, что я был всегда, во веки веков и всюду. А где грань между моей действительностью и моим воображением, которое есть ведь тоже действительность, тоже жизнь?

Печаль пространства, времени, формы преследует меня всю жизнь. И всю жизнь, сознательно и бессознательно, то и дело я преодолеваю их. Но на радость ли? И да – и нет.

Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе. Но зачем? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, свое я, свое время, свое пространство, – или затем, чтобы, напротив, утвердить себя, обогатившись и усилившись чужим? [31, 386]

Иван Алексеевич Бунин:

Не раз испытывал я нечто поистине чудесное. Не раз случалось: я возвращаюсь из какого-нибудь далекого путешествия, возвращаюсь в те степи, на те дороги, где я некогда был ребенком, мальчиком, – и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною, как не бывало. <...> Это совсем не воспоминание прошлого: нет, просто я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии и их и всего мира, как это было вот здесь, вот на этом проселке в дни моего детства, отрочества. <...> Нет слов передать всю боль и радость этих минут, все горькое счастье, всю печаль и нежность их! [31, 384]

Иван Алексеевич Бунин:

Я прожил почти полвека. Но мне когда-то сказали это – то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, – а следовательно, и счета прожитых мною лет, – но даже и того, что я существую в силу именно рождения. Да и вообще странна основа моей жизни: стоит мне мало-мальски задуматься над этой жизнью – тотчас же непонимание, ничем не разрешающееся удивление. Это как когда смотришься в зеркало: что это такое, кто это такой, которого я вижу, который есть и о котором я думаю, и кто собственно на кого смотрит? Опасное занятие, с ума можно сойти.

Полагают, что лишь человек дивится своему собственному существованию и что в этом его главное отличие от прочих темных существ, которые еще в раю, в неведении, в недумании о себе. Если так, отличие немалое. Надо только прибавить, что и люди отличаются друг от друга – степенью, мерой этого удивления. Что до меня, то повторяю: я отмечен этим свойством очень явственно [31, 383–384].

Иван Алексеевич Бунин. 20 февраля 1911:

Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование – каждую секунду висишь на волоске! Вот я жив, здоров, а кто знает, что будет через секунду с моим сердцем, которое, как и всякое человеческое сердце, есть нечто такое, чему нет равного во всем творении по таинственности и тонкости? И на таком же волоске висит и мое счастье, спокойствие, то есть жизнь, здоровье всех тех, кого я люблю, кем я дорожу даже больше, чем самим собою... За что и зачем все это? [54, 83]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из дневника:

17 мая 1930. За обедом разговор о смерти. Ян возмущается обрядами. – «Умер человек и как можно быстрее его увезти. Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и отправили в Египет, а там положили бы в нишу на лавку и я высох бы. А в землю – это ужасно. Грязь, черви, ветер завывает». Говорил он об этом с изумительным спокойствием. Говорил, что не может видеть крепа [55, 178].

Вера

Иван Алексеевич Бунин:

Как только я узнал из книжечки какого-то протоиерея Рудакова, что был некогда «рай или прекрасный сад», и увидел на картинке «древо познания добра и зла», с которого кольцами свивается на длинноволосую, нагую Еву искушитель, я тотчас же вообразил, почувствовал, да так и остался на весь век с чувством, что я был в этом «прекрасном» саду [34].

Борис Константинович Зайцев:

Не хочу сказать, что был для него закрыт высший мир – чувство Бога, вселенной, любви, смерти, – он это все тоже чувствовал, особенно в расцветную свою полосу, и чувствовал с неким азиатско-буддийским оттенком. Будда был ему чем-то близок. Но вот чувство греха, виновности вполне отсутствовало [22, 398].

Иван Алексеевич Бунин:

12 февраля 1911 г., ночью, в Порт-Саиде. <...> Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я никогда не расстанусь, святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, где мое детство, – иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. «Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы...» Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь Тому, Кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной волей, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя – трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои! [11, 423]

Николай Алексеевич Пушешников:

20 апреля 1918 года. Вечером опять у Ивана Алексеевича. Он только что пришел из церкви. Глаза заплаканы.

– После всей этой мерзости, цинизма, убийств, крови, казней я был совершенно потрясен. Я так исстрадался, я так измучился, я так оскорблен, что все эти возвышенные слова, иконостас золотой, свечи и дивной красоты песни произвели на меня такое впечатление, что я минут пятнадцать плакал навзрыд и не мог удержаться. Все, что человечество создало самого лучшего и прекрасного, все это вылилось в религию... Да, только в редкие минуты нам дано это понимать [33, 164].

Иван Алексеевич Бунин. Из дневника:

10/23 января <1922>. Ночью вдруг думаю: исповедаться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в глухом монастыре под Вологдой! Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как перед Богом... почувствовать его как отца... [55, 62]

Иван Алексеевич Бунин. Из дневника:

20 сент./3 окт. 1922. Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь это главное: связующий с прошлым. И на древние русские похож. Это большое счастье и мудрость пожертвовать драгоценный колокол на ту церковь, близ которой ляжешь навеки. Тебя не будет, а твой колокол, как бы часть твоя, все будут и будет петь – сто, двести, пятьсот лет [55, 78].

Вера Николаевна Муромцева-Булнина. *Из дневника:*

9 февр. 1923. За обедом говорили с Яном о загробной жизни. Ян верит в бессмертие сознания, но не своего я [55, 89].

Нина Николаевна Берберова:

Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я много раз сама слышала от него) и любя пугать и себя, и других (в частности, бедного Алданова) тем, что черви поползут у них из глаз и изо рта в уши, когда оба будут лежать в земле, он даже никогда не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить абстрактно [10, 295].

Никита Алексеевич Струве:

Верил ли Бунин во что-нибудь? Конечно, он верил в слово, в писательство, в красоту природы, в себя, в свою литературную ценность. Но за всем этим великолепием <...> скрывался мучительный страх, страх смерти, уничтожения, небытия. <...>

Умом своим Бунин верил в Бога, но сердца своего ему не отдал [50, 249–251].

Андрей Седых:

[Бунин] был совершенно непримирим (в вопросах религиозного характера. – Сост.), ни на какие компромиссы не шел; между прочим, он Блока возненавидел в значительной степени за его богохульство в «Двенадцати». Этого он совершенно не переносил [5, 210].

Иван Алексеевич Бунин. *Из письма А. Седых. 18 декабря 1949 г.:*

P. S. Вы не должны огорчаться за Блока. Это был перверсный актер, патологически склонный к кощунству: только Демьян Бедный мог решиться на такую, например, гнусность, как рифмовка (в последнем мерзком куплете «Двенадцати») – мне даже трудно это писать! – рифмовка «пес – Христос». Только последний негодяй мог назвать Петра Апостола (пришедшего в Рим на Распятие – и потребовавшего, чтобы Его распяли вниз головой, ибо Он считал, что недостойн быть распятым обычно, так, как распят был Христос) «дураком с отвислой губой», а Блок именно так и написал: «дурак с отвислой губой Симон удит рыбу». И это – о Петре, красота души которого даже увеличивала эту красоту, – вспомните, как горячо кинулся защищать Христа (ухо отсек), как отрекся трижды от Него и как плакал потом... [43, 209–210]

Вера Николаевна Муромцева-Булнина. *Из дневника:*

6 января 1950. <...> Леня (Зуров. – Сост.) задал Яну вопрос: Почему в ранних ваших стихах и потом в «Храме Солнца» у вас душа религиозная, а затем вы как-то от этого закрылись? – Ян ничего не ответил [55, 395].

Политические взгляды и убеждения

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Полдня переписывала дневник Яна. Как по-разному переживали мы большевиков. У него все уходило в ярость, в негодование [55, 80].

Иван Алексеевич Бунин:

6/19.6.21. Париж. Что так быстро (тогда же, чуть не в первый день) восстановило меня против революции («мартовской»)? Кишкин, залезший в генерал-губернаторский дом, его огромный «революционный» бант (красный с белым розан), страстно идиотические хлопоты этой психопатки К. П. Пешковой по снаряжению поездов в Сибирь за «борцами», своевольство, самозванство, ложь – словом, все то, что всю жизнь ненавидел [55, 41].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из дневника:

26 мая 1918. Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. мы на «немецкой» Орше – за границей. Ян со слезами сказал: «Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!» Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по-большевицки [54, 145].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из дневника:

17 февраля / 2 марта 1919. Говорили о большевиках. Ян считает их всех негодьями, не верит в фанатизм Ленина.

– Если бы я верил, что они хоть фанатики, то мне не так было бы тяжело, не так разрывалось бы сердце [54, 175].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из дневника:

13/26 декабря 1919. Вчера мы пили вино. Ян возбудился, хорошо говорил о том, что он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее. Когда он говорил, то на глазах у него блеснули слезы. Ни социализма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ему. Близко ему индивидуальное восприятие мира. Потом он иллюстрировал:

– Я признавал мир, где есть I, II, III классы. Едешь в заграничном экспрессе по швейцарским горам, мимо озер к морю. Утро. Выходишь из купе в коридор, в открытую дверь видишь лежит женщина, на плечах у нее клетчатый плед. Какой-то особенный запах. Во всем чувствуется культура. Все это очень трудно выразить. А теперь ничего этого нет [54, 266–267].

Иван Алексеевич Бунин. Из дневника:

1/14 февраля 1922. Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали... Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели «новая прекрасная жизнь» вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние [55, 66].

Иван Алексеевич Бунин:

Жить в вечной зависимости от гнева или милости разнузданного человека-зверя, человека-скота, жить в вечном страхе за свой приют, за свою честь, за собственную жизнь

и за жизнь и честь своих родных, близких, жить в атмосфере вечно висящей в воздухе смертельной беды, кровной обиды, ограбления, погибать без защиты, без вины, по прихоти негодяя, разбойника – это несказанный ужас, это мы все – уже третий год переживающие «великую русскую революцию», – должны хорошо понимать теперь. И наш общий долг – без конца восставать против всего этого, без конца говорить то, что известно каждому мало-мальски здравому человеку и что все-таки нуждается в постоянном напоминании. Да, так жить дальше просто неумоготу. Да, пора одуматься подстрекателям на убийство и справа и слева, революционерам и русским и еврейским, всем тем, кто уже так давно, недоговаривая и договаривая, призывает к вражде, к злобе, ко всякого рода схваткам, приглашает «в борьбе обрести право свое» или откровенно ревет на всех перекрестках: «Смерть, смерть!» – неустанно будя в народе зверя, натравливая человека на человека, класс на класс, выкидывая всяческие красные знамена или черные хоругви с изображением белых черепов [5, 209].

Никита Алексеевич Струве:

К большевизму <...> он относился всегда с отвращением, в котором было, пожалуй, больше брезгливости, чем ненависти, – как к чему-то предельно уродливому [50, 250].

Иван Алексеевич Бунин. Из дневника:

16. V. 41. 10 1/2 часов вечера. Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то «народный певец» живет в каком-то «чудном уголке» и поет: «Слово Сталина в народе золотой течет струей...» Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну! [55, 314]

Иван Алексеевич Бунин. Из дневника:

30. XII. 41. Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой – Ленинград, Нижний – Горький, Тверь – Калинин – по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган [55, 340].

Иван Алексеевич Бунин. Из письма М. Алданову. 20 апреля 1953 г.:

Позовет ли опять меня в Москву Телешов – не знаю, но хоть бы сто раз меня туда позвали и была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, а я бы мог двигаться, все равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа [58, 150].

Василий Семенович Яновский:

По своему характеру, воспитанию, по общим впечатлениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма; но он этого никогда не проделал. Свою верную ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к гитлеризму. Отталкивало Бунина от обоих режимов, думаю, в первую очередь их хамство! [59, 320]

Своеобразие ума и мышления

Георгий Викторович Адамович:

У Бунина был очень острый ум, лишенный, однако, всего, что можно было бы отнести к способностям аналитическим. Ошибался он в оценках редко, – в особенности, когда речь шла о прошлом, – но объяснить, обосновать свое суждение не мог [3, 151].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Каким умным, талантливым собеседником был Бунин, и как убеждалась я, слушая его, что никакое образование не может заменить ум, безо всякой ученой подготовки способный к восприятию всего, что существует в мире. Как быстро, как точно понимал И. А. то, что он слышал, да и всю таинственность человеческой природы. Регистр его был широк – и академизм прекрасно уживался в нем с самой простонародной зоркостью, как и высокий стиль – с крепким черноземным словом [57, 204].

Георгий Викторович Адамович:

Он был на редкость умен. Но ум его с гораздо большей очевидностью обнаруживался в суждениях о людях и о том, что несколько расплывчато можно назвать жизнью, чем в области отвлеченных логических построений [3, 114].

Василий Семенович Яновский:

Придаться к Бунину, интеллектуально беззащитному, было совсем не трудно. Как только речь касалась понятий отвлеченных, он, не замечая этого, терял почву под ногами. Лучше всего ему удавались устные воспоминания, импровизации – не о Горьком или Блоке, а о ресторанах, о стерляди, о спальнях вагонах Петербургско-Варшавской железной дороги [59, 311].

Петр Александрович Нилус (1869–1943), прозаик, художник, друг И. Бунина:

Отличался <...> Бунин <...> феноменальной памятью: стоило ему внимательно прочесть стихотворение, даже большое, в 20–30 строк, и он его передавал с точностью фотографа [32, 432].

Иван Алексеевич Бунин. Из наброска письма Ю. Л. Сазоновой:

Память у меня на что-нибудь более или менее обыденное, простое, бывшее со мной и при мне, на дни, на годы, на лица – словом на все то, что порой перечисляется моими критиками, даже ниже средней. Зато в меня сильно входит и без конца тайно живет во мне то общее, что было воспринято мной, для меня вполне бессознательно, в тот или иной период моей жизни, в той или иной стране, в той или иной природе, в той или иной человеческой среде, в том или ином быту, в том или ином бытовом языке⁴.

Александр Васильевич Бахрах:

С цифрами он был не в ладу. <...> У него не было достаточно терпения, чтобы что-то считать или производить какие-то арифметические действия. Когда дело касалось единиц, он был весьма расчетлив, потому что ощущал вес и значение каждой единицы. Но коль скоро

⁴ Бунин о себе и своем творчестве. Архивные материалы. Публикация М. Грин // Новый журнал. Нью-Йорк. 1972. № 107. С. 168.

дело касалось сотен или тысяч, он был неумеренно щедр – реальность больших цифр он себе не представлял [8, 184–185].

Федор Августович Степун (1884–1965), философ, писатель, критик:

Не надо забывать, что греческое слово «теория» означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бунин думает глазами, и лучшие страницы его наиболее глубоких вещей являются живым доказательством того, что созерцание мира умными глазами стоит любой мирозерцательной глубины. У Бунина же зрение предельно обострено; ему отведены не только орлиные глаза для дня, но и совиные для ночи. Поистине он все видит [47, 157].

Борис Константинович Зайцев:

Поехали втроем – он, я и Галина, в городок Бар. <...> Иван, как всегда, в канотье своем, во всем белом, веселый и оживленный, вышел с нами из вагончика на «вокзале» <...> – и вдруг быстро, легко подскочил ко мне, остановился и стал в упор разглядывать, словно врач для диагноза. Отлично помню почти вплотную придвинутое лицо, многолетне знакомые глаза, в них выразился теперь почти ужас. Но и на леопарда он был похож, вот сейчас кинется...

– Это козел! – сказал он сдавленно, все с тем же ужасом. – Это страшный козел! Страшный козел!

Мы с Галиной чуть не прыснули со смеху. Не то было смешно, что он нашел во мне нечто козлиное, но тот почти мистический страх, который выразился на его лице, несколько даже побледневшем. Точно встретил неожиданно... фавна – вот заиграет он сейчас на тысячелетней дудочке. Но я не заиграл, на ногах у меня шерсти не оказалось, просто туфли белые, и копыт под ними тоже не было.

Ну, разумеется, пустяк и мелочь. Но Иван вообще был одареннейшей, особенной натурой. Это о себе он знал и об этом говорил. «Не раз чувствовал я себя не только прежним собою – ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром, в свой срок кто-то должен, и будет, чувствовать себя мною».

Не удивительно, что и меня, сотрудника «Современных Записок», ощутил он вдруг неким козлоногим, древнего происхождения [22, 401].

Особенности поведения

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логина:

Он в жизни был «на сцене» и отлично пользовался этим своим даром. Вера Николаевна правильно говорила, что у него все данные первоклассного актера [32, 310–311].

Викентий Викентьевич Вересаев:

Он был очарователен с высшими, по-товарищески мил с равными, надменен и резок с низшими; начинающие писатели, обращавшиеся к нему за советом, высказывали от него, как из бани, – такие уничтожающие, раскатывающие отзывы давал он им. В этом отношении он был полною противоположностью Горькому или Короленко, которые относились к начинающим писателям с самым бережным вниманием. Кажется, нет ни одного писателя, которого бы ввел в литературу Бунин. Но он усиленно протаскивал молодых писателей, окружавших его поклонением и рабски подражавших ему, как, например, поэта Николая Мешкова, беллетриста Н. Г. Шкляра и др. С равными он был очень сдержан в отрицательных отзывах об их творчестве, и в его молчании всякий мог чувствовать как бы некоторое одобрение [20, 454].

Галина Николаевна Кузнецова. Из дневника:

И. А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно любезен. <...> Говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. <...> Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати, ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляли меня в душе улыбаться. Впрочем, эта общедоступная любезность все покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее [28, 54].

Ирина Владимировна Одоевцева:

В домашнем быту Бунин сбрасывал с себя все свое величие и официальность. Он умел быть любезным, гостеприимным хозяином и на редкость очаровательным гостем, всегда – это выходило само собой – оставаясь центром всеобщего внимания.

Он бывал естествен, весел и даже уютен. От величественности не оставалось ни малейшей тени.

Но когда ему это казалось нужным, он сразу, как мантию, накидывал на себя всю свою величественность [37, 231].

Александр Васильевич Бахрах:

У себя дома Бунин приемов не любил. Роль гостеприимного хозяина была ему не по душе, хотя в ограниченном кругу он эту роль всегда выполнял с блеском и со свойственной ему словесной щедростью сыпал всякими остротами и эпиграммами... Не раз мне приходилось быть свидетелем того, как он разыгрывал шаржи на знакомых и друзей и в первую очередь изображал коллег по перу, всегда метко, иногда зло, никогда не злобно. Актер он был вообще первоклассный, и не надо удивляться тому, что в свое время Станиславский настойчиво предлагал ему включиться в труппу Художественного театра. Впрочем, в данном случае Станиславский не был тонким психологом: Бунин и театр, Бунин и дисциплина – две «вещи несовместные» [8, 21–22].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Он был неизменно мил с нами и очень забавно передразнивал мою картавость. Впрочем, передразнивал он не только меня, но и всех друзей и недругов, дарил «всем сестрам по серьгам», как он сам говорил, рассыпая искрометно блестящие карикатурные портреты [37, 231].

Василий Семенович Яновский:

Натуральной склонностью обиженного в молодости Бунина было высмеять, обругать, унижить. Когда богатый купец угощал Бунина хорошим обедом, он, показывая независимость, привередничал, браковал вина, гонял прислугу, кричал:

– Да если бы мне такую стерлядь подали в Москве, так я бы...

Глядя на него, можно было легко поверить, что в России неплохие люди, единственно чтобы показать самостоятельность, мазали горчицей нос официантам и били тяжелые зеркала [59, 314].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Мы сели за стол, Бунин брезгливо отодвинул тарелку:

– Я сегодня ничего есть не могу. Мне что-то с утра нездоровится.

Вера Николаевна испуганно заморгала и со своего места громко зашептала:

– Ян, неудобно. Ешь! Ведь они так потратились.

Я с трудом удержала смех. Я уже знала, что Бунин почти всегда, придя в гости, грозил, что он сегодня есть не станет, что, впрочем, не мешало ему тут же проявлять отличный аппетит.

Так, конечно, случилось и на этот раз.

Закусив и выпив, Бунин принялся изображать в лицах общих знакомых, как всегда, неподражаемо талантливо передразнивая их. <...> После обеда Буниным, как всегда, овладела «охота к перемене мест», и мы, не споря с ним, погрузились вшестером в такси и отправились на Монпарнас, где кочевали из кафе в кафе, нигде не засиживаясь [37, 96].

Владимир Пименович Крымов:

В личном общении Бунин был иногда неприятен, он выделял себя над всеми, не переносил сравнений с другими писателями, считал это для себя оскорбительным: он несравним, он – Бунин. На этой почве мы с ним несколько раз ссорились, он вообще позволял себе выражения резкие и обидные, но спокойно принимал и отпор, если он был сделан в остроумной форме, и никакой обиды не было, сохранялись дружеские отношения. <...>

Резкость Бунина была интересна и красочна, божьи коровки обычно скучны [27, 203].

Ирина Владимировна Одоевцева:

Да, Бунин мог быть иногда очень неприятен, даже не замечая этого. Он действительно как будто не давал себе труда считаться с окружающими. Все зависело от его настроения. Но настроения свои он менял с поразительной быстротой и часто в продолжение одного вечера бывал то грустным, то веселым, то сердитым, то благодушным.

Он был очень нервен и впечатлителен, чем и объяснялась смена его настроений. Он сам сознавался, что под влиянием минуты способен на самые сумасбродные поступки, о которых потом жалел.

– И зачем только я его огорчил? – с недоумением спрашивал он. – Ах, как нехорошо вышло. Зря человека обидел... [37, 232]

Александр Васильевич Бахрах:

Бывали <...> вечера, когда Бунин неожиданно «вскипал», разозлившись на не угодившее ему какое-нибудь словцо, и на следующее утро адресовал своему без вины виноватому «обидчику» пропитанное ядом и не всегда вполне цензурными выражениями письмо. Впрочем, опустив его в почтовый ящик, он сразу же о своем поступке сожалел. Но что было ему делать? Я знал одного беллетриста, <...> который такое бунинское послание застеклил и на видном месте повесил у себя в столовой [8, 22].

Андрей Седых:

В выражениях он <...> никогда не стеснялся. Будущему издателю писем Бунина придется немало слов в них заменить многоточиями. Вот один случай, связанный с любовью Бунина к крепкому слову.

Ехали мы как-то ночью в такси. В те годы множество шоферов такси в Париже были русские. Узнать их можно было сразу по акценту, по тому, как сосредоточенно сидели они за рулем, держась за него двумя руками, даже по крепким, каким-то особенно русским затылкам. Но на этот раз мы не узнали – дали адрес, и шофер повез по темным улочкам, дальней дорогой, и Бунин вдруг начал ругаться сочными, отборными словами. Шофер обернулся к нам и добродушно, словно вся эта ругань к нему не относилась, сказал:

– А вы, господин, должно быть из моряков? Ловко выражаетесь.

– Я не моряк, – как-то строго и скороговоркой ответил Бунин. – Я – почетный академик по разряду изящной словесности.

Тут шофер просто покотился со смеху и долго потом еще не мог успокоиться:

– Академик!... Да... Действительно, изящная словесность! [43, 187–188]

Нина Николаевна Берберова:

Он любил главным образом так называемые детские непечатные слова на г, на ж, на с и так далее... [10, 293]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Как-то приехала я из Брюсселя; И. А. встретил меня на вокзале. <...> Мы сели в такси, и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко и по-русски, о своих и моих братьях. Жаль, что не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: «Приятно было покатасть гордость нашей эмиграции. Я прямо заслушался – ох, и хорошо же Вы знаете русский язык!» – и отказался взять на чай [57, 204].

Галина Николаевна Кузнецова:

По живости своего темперамента он многих бранил, но часто тут же, в той же фразе, напоминал обо всем талантливом, обещающем, что находил в них. Бранил он легко, очень легко, но это зависело от многого: он был безгранично требователен к себе и хотел того же от других [29].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Любил он уважение, но не терпел лести и остался в моей памяти умным, талантливым, беспредельной честности писателем, работавшим, несомненно, безо всякой оглядки на читателя, хотя славу и почет ценил очень, а в деньгах нуждался почти всю жизнь. <...> Чествования любил, но считал, что всюду надо соблюдать свое достоинство, и выражал он

это мастерским невниманием к присутствующим, по-актерски высокомерничая, с прекрасно дозированными мгновениями «шармантности» [57, 202–203].

Иван Алексеевич Бунин. *В записи И. В. Одоевцевой:*

Люблю лесть. Даже самую грубую, неприкрытую... Но тонкая лесть, конечно, еще приятнее. В лавке Суханова спрашиваю приказчика как-то, хороши ли вновь полученные консервы из налимьей печенки, а он отвечает почтительно: «Кто их знает, Иван Алексеевич. Не пробывал-с. „Темные аллеи“. А вот чайную колбасу могу рекомендовать. Прелесть. „Митина любовь“, да и только-с!» Вот как польстить сумел [37, 287].

Марк Алданов (*настоящая фамилия Ландау, 1886–1957*), прозаик, публицист, близкий друг Буниных:

Несмотря на всю свою славу, Бунин был до конца своих дней очень чувствителен и к лестным, и к нелестным отзывам [4].

Василий Семенович Яновский:

Одно из самых потрясающих признаний, сделанных Буниным (их было не много) <...> Раз в «Доминике» (кафе в Париже. – Сост.) поздно ночью, пропустив последнее метро, он мне сказал:

– Даже теперь еще... как только увижу свое имя в печати, и вот тут, – он поскреб пядью у себя в области сердца, – вот тут чувство, похожее на оргазм! [59, 197]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Бунин утверждал, что нечестолюбивых писателей нет и быть не может. Только одни это скрывают и ловко прикидываются скромными [37, 108].

Владимир Михайлович Зернов:

Помню Бунина-лауреата на обеде у С. В. Рахманинова. Сергей Васильевич слушает внимательно и словно немного снисходительно, как Бунин рассказывает о происхождении своего древнего рода, о своей поездке в Стокгольм. <...> Бунину это нужно, нужен и древний род, и торжество его признания, и слава, и хочется, чтобы эта слава была мировой, всемирной, с лаврами, цветами и рукоплесканиями.

А Рахманинов слушает его, как царь, владеющий безграничным царством, для которого вся эта слава и блеск только «суета и томление духа». Но слушает его доброжелательно, с живым интересом, иногда вставляя свои, немного шуточные, замечания [32, 358].

Антонин Петрович Ладинский:

Как и у всякого человека, были у Ивана Алексеевича и маленькие слабости. Он очень гордился своим дворянством, писал и говорил, что его род уже дал России двух поэтов: Жуковского, сына Бунина и пленной турчанки, и Анну Бунину, а также многих государственных деятелей. Поверим Бунину на слово, хотя что-то не приходилось встречать государственных деятелей в российской истории с такой фамилией, и едва ли это были чиновники выше губернаторского ранга [36, 222–223].

Владимир Пименович Крымов:

Бунин был известен тем, что он нередко кричал: «Я – дворянин Бунин!» Он гордился тем, что он дворянин. «Писателем может стать каждый, если научится хорошо писать, а дворянином надо родиться...» [27, 203]

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Проведший детство и юность в захолустном мелкопоместном быту, молодость и зрелость – среди интеллигенции все же разночинной <...> И. А. сохранил ностальгию по дворянскому миру, к которому, он помнил крепко, он принадлежал <...>. Барство и род уважал он в себе и в других как что-то имеющее некую <...> нравственную ценность [57, 204–205].

Ирина Владимировна Одоевцева:

То, что Бунин был особенный человек, чувствовали многие, почти все.

Мы с ним однажды зашли купить пирожные в кондитерскую Коклена на углу Пасси, где я бывала довольно часто.

В следующее мое посещение меня спросила, смущаясь, кассирша:

– Простите, пожалуйста, но мне очень хочется узнать, кто этот господин, приходивший с вами позавчера?

Я не без гордости ответила:

– Знаменитый русский писатель.

Но ответ мой не произвел на нее должного впечатления.

– Писатель, – разочарованно повторила она. – А я думала, какой-нибудь гран-дюк. Он такой... такой, – и она, не найдя подходящего определения, характеризующего Бунина, принялась отсчитывать мне сдачу.

Мне часто приходилось замечать, что Бунин притягивал к себе взгляды прохожих на улице [37, 298–299].

Собеседник

Георгий Викторович Адамович:

Все встречавшиеся с Буниным знают, что он почти никогда не вел связных, сколько-нибудь отвлеченных бесед, что он почти всегда шутил, острил, притворно ворчал, избегал долгих споров. Но как бывают глупые пререкания на самые глубокомысленные темы, так бывает и вся светящаяся умом и скрытой содержательностью речь о пустяках. У Бунина ум светился в каждом его слове, и обаяние его этим усиливалось [3, 128–129].

Василий Семенович Яновский:

С ним нельзя было, да и не надо было, беседовать на отвлеченные темы. Не дай Бог заговорить о гностиках, о Кафке, даже о большой русской поэзии: хоть уши затыкай. Любил он чрезмерно Мопассана, которого французы не могли считать великим писателем, как и американцы Эдгара По! <...> Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам. <...>

Вспоминаю ночные часы, проведенные в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь отвлеченно ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания... Только «живописные» картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика – всех, всего! Кстати, Толстой крыл многих, но обидели его не Горький с Блоком, а Шекспир и Наполеон. <...>

Это был умный, ядовитый, насмешливый собеседник, свое невежество искупавший шармом [59, 313–317].

Серж Лифарь. Из письма А. К. Бабореко. 6 февраля 1974 г.:

Язык его был как лезвие бритвы. Большею частью ядовитое, когда он не щадил никого [5, 141].

Георгий Викторович Адамович:

Меня смущал и стеснял его иронический тон в беседах, правда, добродушный. Бунин подтрунивал «над всеми вами, декадентами» и вдруг пристально смотрел в глаза, когда говорил что-нибудь, по его мнению, существенное, важное, будто проверяя: понял, одобрил или ничего не понял и потому заранее отвергает? Спорить он не любил, споры быстро прекращал... [3, 113]

Ирина Владимировна Одоевцева:

Возражений он не переносил. Он привык к тому, что все благоговейно слушают его, не решаясь прервать.

Как-то на другом обеде, когда Бунин был на редкость в ударе и без усталости рассказывал о дореволюционной жизни Москвы и о Художественном театре, – один из гостей вдруг прервал его:

– Позвольте, Иван Алексеевич, а по моему мнению...

Бунин через плечо окинул его уничтожающим взглядом и с нескрываемым изумлением почти пропел:

– По вашему мнению, – растягивая и подчеркивая «вашему». – Скажите, пожалуйста... – будто не допуская возможности своего мнения у человека, осмелившегося прервать его.

Тот настолько смутился, что, багрово покраснев, уже не в силах был высказать «своего мнения», а Бунин, брезгливо усмехнувшись и пожав плечами, продолжал, как ни в чем не бывало, свой рассказ, не отдавая себе отчета, что он смертельно обидел человека [37, 232–233].

Георгий Викторович Адамович:

Не уверен, что правильно было бы назвать его блестящим собеседником, златоустом, по-французски «козэром», кем-то вроде Анатоля Франса. <...> Ораторских способностей у Бунина не было никаких, в противоположность Мережковскому... <...> Бунин вовсе не был красноречив. Но когда он бывал в «ударе», был более или менее здоров, когда вокруг были друзья, его юмористические воспоминания, наблюдения, замечания, подражания, шутки, сравнения превращались в подлинный словесный фейерверк. Он был не менее талантлив в устных рассказах, чем в писаниях... [3, 113]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

Ему нужно и интересно было вести разговоры только о том, что в данное время его занимает [35, 456].

Нина Николаевна Берберова:

Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова... всего не перечесать. Символистов он «стирал в порошок»; к собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них <...> смерти он боялся, злился, что она есть; искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость. Поэтому очень часто разговор был мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин «распускался», его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью, крупные, сильные руки дополняли облик, и речь его лилась — о себе самом, конечно, но о себе самом не мелком, злобном, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе настоящего места в своем времени [10, 300–301].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.